

Русская речь

Научно-популярный журнал

Института русского языка Академии наук СССР

Основан в 1967 году • Выходит 6 раз в год

Издательство «Наука» • Москва

№ 1 1971 январь — февраль

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Е. А. Маймин. Возвышенное слово Ф. И. Тютчева	3
Г. В. Кондаков. Гармония контраста	13
В. А. Сиротина «Море — смеялось»	19
Н. В. Лебедева. Синтаксис поэтической речи	27
А. П. Прусаков. Народная речь в рассказах Н. Д. Телешова	32
Н. Д. Телешов. Воспоминания об открытии памятника А. С. Пушкину	36

ВЫДАЮЩИЕСЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЯЗЫКОВЕДЫ

В. И. Борковский. Евфимий Федорович Карский	39
Е. Ф. Карский. Принадлежности письма (из «Славянской кирилловской палеографии»)	47

КУЛЬТУРА РЕЧИ

Г. В. Комякова. Искусственное и естественное в театре	53
А. А. Брагина. Веселое слово «канустинок»	58

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Н. С. Будько. Границы стандартизации	65
Ю. С. Кравченко. Эфпромасличный	69
И. И. Даниленко. Взрывной или подрывной?	70

СТАРАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ

Л. П. Жуковская. Сколько книг было в Древней Руси?	73
--	----

ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ

В. Л. Виноградова. «Растекаться мыслью по дереву»	81
А. И. Молотков. Еще раз «кур во щи»	86
Л. В. Вялкина. Хитрец и художник	92
Д. П. Валькова. Чулан в театре	97
Б. А. Маргарян. Аккорд	100

ПО КАРТЕ РОССИИ

Т. В. Марадудина, А. К. Матвеев. Образные географические названия	106
---	-----

ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ

С. Р. Варшавский. Русские слова на карте Аляски	112
---	-----

ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ

В. В. Лопатин. Знакомые незнакомцы	121
И. Г. Добродомов. Бродячие слова	129

ХРОНИКА

О подготовке к VII Международному съезду славистов КОНСУЛЬТАЦИИ	138
--	-----

НАРОДНЫЕ НАЗВАНИЯ РЫБ

ПОЧТА «РУССКОЙ РЕЧИ»

*На обложке: Ф. И. Тютчев
Гравюра Ю. И. Космынина*

*При перепечатке
ссылка на журнал «Русская речь»
обязательна*



ВОЗВЫШЕННОЕ СЛОВО Ф. И. ТЮТЧЕВА

Мир философской, романтической поэзии Тютчева — это преимущественно мир возвышенного. Все приметы возвышенного имеют и содержание тютчевской лирики, и в равной мере ее язык. Многие исследователи творчества Тютчева подчеркивали небытовой характер языка тютчевских стихотворений, его своеобразную «высокость», намеренную архаичность. Между архаическими и высокими чертами языка Тютчева и внутренним направлением и характером его поэзии существует самая прямая и тесная зависимость.

В мире поэтически высокого, в тютчевском мире возвышенных дум и чувствований, очень естественной и органичной кажется особая архаизированная речь поэта с ее величаво-торжественным течением, с ее необычными словами и необычными синтаксическими конструкциями.

В стихотворении «Видение» Тютчев говорит о великом чуде природы, о «ночном», «всемирном» молчании,

о поэзии, которую в этот час «в пророческих тревожат боги снах». И говорит он об этом удивительно торжественными, точно отрешенными от всего земного, каждодневного словами: в некий час; в оный час; живая колесница мироздания; святилище небес; музы девственная душа.

Тютчев пишет о Пушкине, о великой и горькой утрате Пушкина — это тоже из мира самого возвышенного, — и в его стихотворении звучат снова торжественно-величавые, сгущенно и подчеркнуто архаические слова: божественный фиал; сосуд скудельный; богов орган живой; хоругвью горести народной; и сею кровью благородной ты жажду чести утолил и т. д. Стихотворение, посвященное памяти Пушкина, воспринимается как торжественный реквием, и воспринимается так не только благодаря содержанию, но и благодаря словам, особой, величественной музыке слов.

Сугубо книжный, архаический язык обслуживает у Тютчева самые различные темы, потому что все темы его поэзии, все ее образы и мотивы так или иначе причастны к возвышенному. Это относится и к любовным стихам Тютчева. Тютчев говорит о любимой, и говорит языком, возвышающим ее и возвышающим любовь к ней:

Вчера в мечтах обвороженных,
С последним месяца лучом
На веждах, томно озаренных,
Ты поздним позабылась сном.
Утихло вокруг тебя молчанье,
И тень нахмурилась темней,
И груди ровное дыханье
Струилось в воздухе слышней...

Или:

Не знаю я, коснется ль благодать
Моей души болезненно-греховной,
Удастся ль ей воскреснуть и восстать,
Пройдет ли обморок духовный?
Но если бы душа могла
Здесь, на земле, найти успокоенье,
Мне благодатью ты б была —
Ты, ты, мое земное PROVIDENЬЕ!..

Замечательно, что эти традиционно высокие слова, которые так любит Тютчев, в его стихах кажутся высокими, но далеко не всегда и не обязательно традиционными. Тютчев органически усвоил богатства, завещанные историческим прошлым русского языка. Он их сделал своими, включил в неповторимую, оригинальную речевую

систему, чудесным образом оживил то, чем иные поэты-современники Тютчева начали уже пренебрегать и что как будто бы умерло для языкового творчества. В стилистической системе Тютчева словам устаревшим и сугубо книжным были возвращены их живые краски и оттенки; архаические слова в стихах Тютчева обрели способность, хотя и по-своему, но очень сильно выражать действительное. Действительное в жизни — и действительное в мысли.

Не только тютчевская поэзия была поэзией мысли, но и соответственно ее язык был языком мысли. Сами задачи, которые ставил перед своими поэтическими опытами Тютчев, требовали языка внебытового, генерализирующего. Таким и стал для Тютчева язык с явными архаическими тенденциями, но словно бы облагороженный, язык, старый по своим формальным приметам, но с открытыми в нем новыми художественными возможностями. У Тютчева это язык философских раздумий и общих понятий, и вместе с тем очень живой и выразительный.

То, что казалось тяжелым, неловким и непоэтическим в стихах, например, Шевырева или Хомякова, могло восприниматься не только как должное, но и как удача в стилистической системе Тютчева.

Общий возвышенный характер речи в стихах Тютчева зависит не только от архаичности слов, которыми он пользуется. Как раз слова в поэзии Тютчева далеко не всегда архаические и стилистически высокие. Но они становятся высокими. Вот несколько типических начал тютчевских стихотворений: «Через ливонские я проезжал поля, вокруг меня все было так уныло...»; «Есть в светлости осенних вечеров умильная, таинственная прелесть...»; «На древе человечества высоком ты лучшим был его листом...»; «Над виноградными холмами плывут золотые облака...».

Большинство стихотворений, начала которых здесь приведены, написаны четырехстопным ямбом. Размер этот очень гибкий, с большими и разными ритмическими возможностями. У Пушкина, например, он звучит чаще всего разговорно, непринужденно и живо. У Тютчева — величаво и торжественно, и слова тютчевского ямбического стиха тоже кажутся величавыми и торжественными, хотя среди них может и не быть архаизмов и подчеркнуто книжных по своей стилистической окраске слов.

Эта торжественность звучания ямбического стиха и слов в нем в значительной мере объясняется тем, что стих Тютчева ведется и строится в основном не на коротких, малосложных, а на длинных, многосложных словах. Именно «длинные» слова у Тютчева находятся чаще всего в ключевом положении и несут на себе повышенную эмоциональную, интонационную и в конечном счете повышенную смысловую нагрузку. В приведенных примерах это слова: ливонские; умильная; таинственная; человечества; виноградными. Многосложное слово, в сравнении с малосложным, более протяженное и потому более торжественное. У Тютчева такие «долгие», торжественные слова помогают переключить читательское восприятие как бы на «высокую волну», переводят его в необычное, высокое измерение. Недаром в поэзии Тютчева особенно часты ударные, длинные слова в самом начале стихотворений, где они дают своеобразный ритмический и интонационный разгон, определяя тем самым общий эмоционально-смысловой рисунок стихотворения.

Иногда у Тютчева в начальном, ключевом положении оказываются не просто длинные слова, но одновременно и необычные для русского читателя экзотические слова: «Вновь твои я вижу очи — и один твой южный взгляд *киммерийской* грустной ночи вдруг рассеял сонный хлад...»; «Певучесть есть в морских волнах, гармония в стихийных спорах, и стройный *музыкальный* шорох струится в зыбких камышах...» и т. д.

Тютчев явно любит экзотическое слово, торжественно звучащее и странное. И это тоже находится в прямой связи с глубинными свойствами и особенностями его поэзии. Экзотическое в языке выводит читателя за пределы рутинного и каждодневного. Оно тем и дорого Тютчеву, что помогает оторваться от слишком конкретного и бытового и утвердиться в мире высокого.



Многосложные слова в стихах Тютчева кажутся даже не длинными, а словно бы удлинненными. Это и торжественно звучащие слова, и очень подвижные внутренние. Сама длина слова определяет его возможную ритмическую подвижность, его внутреннюю гибкость. Длинное

слово — уже потому, что длинное — вырывается из строгой ямбической схемы и вносит динамическое разнообразие в интонацию стиха. Многосложные слова не просто существуют в тютчевском стихе, а как будто являются в нем, являются протянутые во времени, длинные и величественные.

В стихах Тютчева «На мир таинственный духов, над этой бездной безымянной, покров наброшен златотканый высокой волею богов...» ключевые длинные слова *таинственный, безымянной, златотканый* кажутся движущимися словами, с внутренним порывом и тем самым очень живыми. Поэтическое слово Тютчева производит впечатление одновременно и очень высокого, торжественного в своем звучании, и всегда по-особенному, по-своему живого.

То, что мы условно назвали «долгим», «удлиненным» словом, — характерная и вполне осознанная черта стилистики Тютчева. О ее осознанности свидетельствуют широкое употребление не только естественно многосложных слов, но и «искусственно» многосложных. У Тютчева часты случаи «словосложения», употребления сложноставных слов: «И все для сердца и для глаз так было *холоднобесцветно*, так было *грустно-безответно*, — но чья-то песнь вдруг раздалась...»; «*Усыпительно-безмолвны*, как блестят в тиши ночной золотистые их волны, убеленные луной...»; «И спящий град, *безлюдно-величавый*, наполнила своей безмолвной славой...»; «И сквозь глянец их суровый вечер *пасмурно-багровый* светит радужным лучом...»; «И в чистом пламенном эфире душе так *родственно-легко*...»; «Как жаждет горних наша грудь, как все *удушливо-земное* она хотела б оттолкнуть...».

Тютчев не только использует в своем поэтическом языке длинные, величественные по звучанию слова, но часто сам творит их.

Иногда у Тютчева даже союзы, синтаксически не обязательные, предназначены словно для того, чтобы «удлинить», возвышать поэтическое слово, делать его замедленно торжественным и по звучанию, и по его глубокому лирическому смыслу:

...И солнце медлило, прощаясь
С холмом, и замком, и тобой.
И ветер тихий мимолетом
Твоей одеждою играл
И с диких яблонь цвет за цветом
На плечи юные сведал...

В подобных случаях — довольно частых у Тютчева — союзы особенно тесно сливаются со значимыми словами и, удлиняя их, придают им музыкальность и вместе с тем особую эмоционально-смысловую величавую торжественность.



Все признаки возвышенного имеет не только поэтическая лексика, но и синтаксис Тютчева. По своим преобладающим формам это синтаксис своеобразного внутреннего диалога, с его вопросами и ответами, с его обращениями к отсутствующему собеседнику, неожиданными поворотами и эмоциональными реакциями и взрывами: «Молчи, прошу, не смей меня будить...»; «Не их вина: пойми, коль может, органа жизнь глухонемой! Увы, души в нем не встревожит и голос матери самой!»; «Не видите ль Собравшись в дорогу, последний раз вам вера предстоит...».

У Тютчева это не совсем обычный внутренний диалог — и соответственно необычен синтаксис его диалогических по форме стихов. Тютчевские диалоги — это разговоры не столько с предполагаемым собеседником, сколько с самим собой, это спор поэта с самим собой. Это разговор-размышление. И это синтаксис размышляющей речи — в муках и постоянном борении размышляющей.

Диалог в философских стихотворениях Тютчева производит часто впечатление нелегкого — и по своему содержанию, и по формальным, грамматическим признакам: самый характер мысли, необычный ход ее очень точно фиксируется в особенностях синтаксической конструкции. Выразительный пример этому можно найти в стихотворении Тютчева «Сижу задумчив и один...»:

Былое — было ли когда?
Что ныне — будет ли всегда?..
Оно пройдет —
Пройдет оно, как все прошло,
И канет в темное жерло
За годом год.
За годом год, за веком век...
Что ж негодует человек,
Сей злак земной!..
Он быстро, быстро вянет — так,
Но с новым летом новый злак
И лист иной!..

Синтаксическая конструкция с *так... но...* представляет собой разговорно-утяжеленную форму, ею фиксируется и поворот фразы, и резкий и значительный поворот мысли. Эта конструкция у Тютчева позволяет почти физически ощутить самый процесс поэтической речи и поэтического раздумья — раздумья трудного, высокого, страстного.

Похожее встречается и в стихотворении «Цицерон»:

Оратор римский говорил
Средь бурь гражданских и тревоги:
«Я поздно встал — и на дороге
Застигнут ночью Рима был!»
Так!.. но, прощаясь с римской славой,
С Капитолийской высоты
Во всем величье видел ты
Закат звезды ее кровавый...

Как и в предыдущем примере, не только фраза, но и самая речь здесь точно разворачивается, причем разворот этот кажется одновременно и очень разговорным, и величаво-торжественным. В общей композиции стихотворения оборот с *так... но...* и вызванное им сильное интонационное замедление, резкий переход в речи выглядит как решающий тематический сдвиг. В месте сдвига разрушается гармоническая плавность стиха, но зато слова здесь оказываются особо весомыми. Тютчев не боится речевой дисгармонии — он подчиняет ее своим художественным целям. Он прибегает к интонационным перебивам и диссонансам, чтобы придать драматизм и стиховой фразе, и заключенной в ней мысли. Содержащаяся в слове поэтическая мысль в ее острейших поворотах и кульминациях интонационно выделяется и благодаря этому делается художественно внушительной.

Синтаксические конструкции и обороты у Тютчева могут быть и «утяжеленными», могут быть и «легкими», но они во всех случаях производят впечатление естественных. В поэзии Тютчева существует постоянная подчиненность синтаксиса не столько законам формальной логики, сколько прямому поэтическому порыву. Ход авторской речи, ее построение в тютчевских стихах кажется безыскусственным и точно «неподготовленным». Эта безыскусственность и кажущаяся неподготовленность речевого строя особенно бросаются в глаза в необычных началах некоторых стихотворений Тютчева:

И бунтует и клокочет,
Хлещет, свищет и ревет...

И чувства нет в твоих очах,
И правды нет в твоих речах...

И гроб опущен уж в могилу,
И все столпилось вокруг...

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа...

Нет, моего к тебе пристрастья
Я скрыть не в силах, мать-Земля...

Подобные начала — как это заметил в свое время Ю. Тынянов — придают характер обрывочности, фрагментарности тютчевским стихам. В сущности поэтическая речь Тютчева вся строится на внутренних кульминациях. Поэт говорит только о самом главном, минуя обязательные зачины и обязательные для других словесные «мостики» и связки. Это делает его речь очень непосредственной и очень подлинной в своей непосредственности.



Поэтический мир Тютчева высокий и в то же время трагический, но он находится за пределами плоской трагедии. О музе Тютчева нельзя сказать, что она «пессимистическая» или, наоборот, «оптимистическая». Ее самая характерная, самая определяющая черта — величие. Радость и печаль, доброе и злое, светлое и мрачное у Тютчева не существуют раздельно, а чаще всего слиты воедино — слиты в возвышенном. Это внутреннее свойство тютчевской поэтической мысли находит свое прямое отражение в языке, в явном пристрастии поэта к антонимическим языковым построениям.

В языке поэзии Тютчева уживается семантически полярное; противоположные по своему словарному значению слова в нем не столько сталкиваются, сколько сосуществуют: с сладким ужасом; сладкий сумрак; и обаянья нет ужасней. Очень по-тютчевски звучит начало стихотворения:

Люблю сей божий гнев! Люблю сие, незримо
Во всем разлитое, таинственное Зло...

Необычно странными кажутся эти слова, если их понимать и воспринимать с точки зрения привычных, каждодневных наших понятий. И они обычны для Тютчева, обычны в его небытовом, космическом и романтическом измерении. В этом особенном измерении, в этом мире высоких поэтических и философских идей, вполне могут оказаться в одном эмоциональном и смысловом ряду и наслаждение и ужас, и любовь и зло.

Антонимами и антонимическими соответствующие слова и словесные конструкции Тютчева могут быть названы только по самым внешним своим приметам. По крайней мере именно так обстоит дело в большинстве случаев:

Их мрак торжественно-угрюмый
И дикий, заунывный шум
Какою сладостною думой
Его обворажали ум!..

Или:

...И сквозь глянец их суровый
Вечер пасмурно-багровый
Светит радужным лучом...

Внешне здесь синтаксическая структура, основанная на резком эмоциональном переходе, структура антонимическая. Первая ее часть — подчеркнуто мрачная; вторая — очень светлая. Но и мрачное, и светлое в этих примерах воспринимается не как противопоставленное по смыслу, а как неразделимое в своем значении. Ведь даже грамматически здесь не две отдельные группы слов, а две стороны единого: субъект и предикат.

Иногда у Тютчева внешне антонимическими оказываются образы в сравнении: «Как наслажденье, утомленный и, как страданье, роковой...». Это сказано о «взоре» любимой, и это тоже предполагает сходство противоположного: сходство и близость страдания и наслаждения в любви.

Философская поэзия Тютчева бывает дидактической, но не догматической. Она всегда глубоко и подчеркнуто проблемна. Недаром в философских стихах Тютчева так много вопросов. Вопросов внутренних, скрытых — и прямых, ичтонационно обозначенных:

Но для кого?.. Одна ли выя,
Народ ли целый обречен?..
Слова неясны роковые,
И смутен замогильный сон...

Не утверждением, не категорическим выводом, а столь же трагическим вопросом завершается и прекрасное и мудрое стихотворение Тютчева «Смотри, как на речном просторе...»:

...Все вместе — малые, большие.
Утратив прежний образ свой,
Все — безразличны, как стихия, —
Сольются с бездной роковой!...
О, нашей мысли обольщенье,
Ты, человеческое Я,
Не таково ль твое значенье,
Не такова ль судьба твоя?

Вопросительные интонации едва ли не преобладают в стихах Тютчева, — и это для них не случайный, не формальный только признак, а признак существенный, стилеопределяющий.

В своих стихах Тютчев избегает не только последнего, обязательного решения, но и последнего, все выговаривающего, слишком категорического слова. Его слова не столько точны в своих значениях, сколько глубоки. Пример из стихотворения «Есть в осени первоначальной...» обычно приводится в доказательство точности слова у Тютчева: «Лишь паутины тонкий волос блестит на праздной борозде...». Это скорее исключение в тютчевской поэзии, нежели правило. Точность слова для Тютчева есть и известная его ограниченность. Точное слово — «изъяснимое», а Тютчев больше всего ищет и хочет выразить «неизъяснимое». Точности понятия он предпочитает особую неконечную точность смысла и точность поэтического решения.

Интересно в этой связи, что одно из самых любимых слов в поэзии Тютчева — *как бы*: «Как бы горячих ног ее коснулись ключевые воды...», «как бы эфирною струею по жилам небо потекло...», «как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом...»; «как бы воздушные руины волшебством созданных палат...»; «весь день стоит как бы хрустальный...»; «люблю я царскосельский сад, когда он тихой полумглою как бы дремотою объят...». Тютчевское *как бы* — это словесный знак неконечного, безусловного, недогматичного. Как и во всех других случаях, особенности мировоззрения Тютчева, особенности его поэтического взгляда на вещи находят самое непосредственное отражение в его языке, в слове.

Е. А. МАЙМИН
Псков



ГАРМОНИЯ КОНТРАСТА

Антонимические эпитеты
А. БЛОКА

ЭПИТЕТЫ, образованные на антонимической основе, — частое явление в поэзии А. Блока.

Антонимы — слова с противоположным значением, слова-контрасты (день — ночь, любовь — ненависть.) Иногда слова, не являющиеся противоположными по смыслу, становятся антонимами в индивидуальном употреблении: «Они сошлись: вода и камень, стихи и проза, лед и пламень, не столь различны меж собой» (Пушкин). *Вода — камень, лед — пламень* — тоже антонимы, которые называются контекстуальными.

Антонимические отношения, в которые вступают слова в художественном произведении, становятся средством выразительности. На антонимической основе строятся поэтические приемы контраста, антитезы, оксюморона. Эти приемы довольно часто встречаются в поэзии Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета.

В стихах Блока, который «брал жизнь в высших ее проявлениях», «с учетом высшей гармонии», который любил крайности и «совмещал в себе полярные начала» (Е. Винокуров), антонимия выступает так ярко, как она не выступает в творчестве других поэ-

тов. Антонимические эпитеты в стихах великого лирика есть убедительное выражение и проявление главных особенностей сложной блоковской художественной манеры. Диалектическая соотношение частного и общего, единичного и целого в поэзии Блока безусловна.

В художественной системе поэта антонимические эпитеты носят разнообразный характер. Часто два и более определения при одном определяемом вступают в антонимические отношения между собой. В лирике Блока антонимические эпитеты передают диалектику человеческих переживаний, чувствований. В «Скифах» поэт пишет:

Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
В тяжелых, нежных наших лапах?

Эпитеты *тяжелый* и *нежный* по своему значению не антонимы, но в строке они противопоставлены, выступают в качестве контекстуальных антонимов. Выразительность их как раз и заключена в этом диалектическом соединении противоположностей.

Блок видит мир в контрастах: жизнь и смерть, свет и тьма, добро и зло. И это говорит не о противоречивости, а скорее о цельности его поэтического восприятия действительности.

В стихотворении «Перед судом», рассказывающем о мучительном пути женщины, очутившейся на краю гибели, мы встречаемся со своеобразным употреблением эпитетов-антонимов. Вот одна из строф, характеризующих образ женщины:

Я не только не имею права,
Я тебя не в силах упрекнуть
За мучительный твой, за лукавый
Многим женщинам сужденный путь.

Антонимические эпитеты *мучительный* и *лукавый* как бы ментальной вспышкой освещают нам тот путь, на который вступила любимая женщина. Этот путь мучительный, потому что женщину «жизнь безжалостно стегнула грубою веревкою кнута», а «пагубная страсть» поставила ее перед судом. Но путь и лукавый, в смысле веселый, игривый, обманчивый, притворный и даже опасный. Употребление этого слова свидетельствует о поэтическом такте автора и умении одним эпитетом сказать о многом. Хотя эти эпитеты и выполняют важную идейно-эстетическую роль в стихотворении, но, кроме них, есть и другие, которые содержат главный идейный смысл стихотворения. Тем не менее две последние строки приведенной строфы, выделенные поэтом ритмически (первые две строки написаны пятистопным хореем, а последние — трехстопным анапестом), очень важны для поэта, в них как бы

выплеснулось наружу затаенное чувство лирического героя, найдя чеканную форму. В этих строках глубокая мысль-обобщение.

Блок оставил любопытное замечание об особенностях композиции лирического стихотворения: «Всякое стихотворение — покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. Эти слова светятся, как звезды. Из-за них существует стихотворение». Вот такие слова-звезды есть и в стихотворении «Перед судом». Второе четверостишие звучит так:

Я и сам ведь не такой — не прежний,
Недоступный, гордый, чистый, злой.
Я смотрю добрей и безнадежней
На простой и скучный путь земной.

Эпитеты *недоступный, гордый, чистый, злой* рисуют не прямолинейный характер, а сложную и противоречивую натуру, знающую раскаяние и угрызения совести. Смысл, заключенный в словах-определениях, раскрывается окончательно в последней строфе:

Эта прядь — такая золотая
Разве не от старого огня?
Страстная, безбожная, пустая,
Незабвенная, прости меня!

Эмоциональность строк «Страстная, безбожная, пустая, незабвенная, прости меня!» достигает исключительной выразительности, взрывной силы. Секрет обаяния стихов в антонимическом характере эпитетов, в гармонии контраста. Лирический герой любил женщину безбожную и пустую, и у такой любимой не стоило бы просить прощения. Но у лирического героя с ней связано дорогое и сокровенное. Вот почему вдруг, как мощный заключительный аккорд в музыкальной пьесе, прозвучали строки: «Незабвенная, прости меня!».

Эпитет *незабвенная* — контекстуальный антоним к словам *безбожная, пустая*, он как бы отбросил все грязное, низкое, что было связано с именем женщины, и оставил самое сокровенное, сердечное — человечность. Именно эта мысль нашла наиболее полное и пластическое воплощение в приведенных строках.

Теперь становится понятной и композиционная роль антонимических эпитетов. «Покрывало» стихотворения растянуто на остриях слов-звезд, высвечивающих поэтическую мысль и высокое чувство.

В знаменитом стихотворении «Незнакомка» поэт пишет:

По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух.

Снова столкновение противостоящих признаков, снова контраст. Антонимические эпитеты *весенний* и *тлетворный* характеризуют диалектическое восприятие поэтом мира. Весна — не только время расцвета, но и время умирания. Эпитетом *тлетворный* Блок как бы снижает традиционный образ этой поры года и придает стихотворению печальную, трагическую окраску.

В поэме «Двенадцать» — излюбленный Блоком прием употребления эпитетов — принцип градации, постепенного усиления признака, в то же время принцип контраста, что придает стиху выразительность, психологическую объемность:

Злоба, *грустная* злоба
Кипит в груди...
Черная злоба, *святая* злоба.

В блоковских строках проявился характер диалектического мышления поэта, его способность передать сложность, противоречивость, текучесть чувства.

Антонимические эпитеты могут состоять не только из двух или более определений, относящихся к одному определяемому, но также из одного определения, которое вступает в антонимические отношения с определяемым словом. Чаще всего это антонимия контекстуальная. Вот примеры:

Какому хочешь чародею
Отдай *разбойную* красу!
Россия

Я пришел к ней с *горьким* весельем
Осушить мой кубок до дна.

«Крыльцо Ее словно паперть»

С наглой скромностью смотрит в глаза.
«Ночная фиалка»

Я боюсь не тебя, о, дитя, ураган!
Не тебя, мой *старый* ребенок, зима!

«Неправда, неправда, я в бурю влюблен»

Иногда поэт употребляет антонимический эпитет, который с определяемым словом образует стилистическую фигуру — оксюморон. Так, в «Итальянских стихах» читаем:

...Позволь
Взору — прозреть над тобой херувима,
Сердцу — изведать *сладчайшую* боль!

Или вот еще пример:

И коварнее северной ночи,
И хмельней золотого аи,
И любви цыганской короче
Были *страшные* ласки твои.

«Есть в напевах твоих сокровених»

Страшные ласки — оксюморон большой художественной силы, и выразительность здесь достигается за счет контраста.

Эпитеты в художественном тексте не имеют обособленного значения. Они всегда взаимосвязаны с другими словами, образуя сцепление.

В стихах возникают своеобразные смысловые, музыкально-интонационные отношения между словами, в частности между определениями и определяемыми. Вот некоторые эпитеты из стихотворения «Пушкинскому дому»:

Это — древний Сфинкс, глядящий
Вслед медлительной волне,
Всадник бронзовый, летящий
На недвижимом скакуне.

Определения *бронзовый, летящий* по своему смыслу контрастны, антонимичны. Антонимия контекстуальная. Слово *бронзовый* указывает на неподвижность, на то, что это памятник. Но поэт вызывает у нас ощущение полета определением *летящий*. *Недвижный скакун* — образность достигается сопряжением, противопоставлением определяемого *скакун* и определяющего *недвижный*. В целом получились яркие, контрастные строки, представляющие органическое единство.

Контрастное изображение присуще и такой строфе того же стихотворения:

Наши страстные печали
Над таинственной Невой,
Как мы черный день встречали
Белой ночью огневой.



Последние две строки антонимичны, и свежесть достигается не просто употреблением эпитетов *черный день, белой ночью огневой*, а своеобразным сцеплением, сплавом слов. Искра поэзии возникает из сопряжения идейного смысла и словесного материала.

В стихах Блока встречается нередко и другой тип антонимических эпитетов, относящихся к разным предметам, явлениям, то есть определяемые слова неоднородны, неодинаковы. Они тоже создают контраст. Графично, образительно начало поэмы «Двенадцать»:

Черный вечер.
Белый снег.
Ветер, ветер!

В «Двенадцати» есть антонимические эпитеты, указывающие на близость поэмы к стихии устной поэзии, что подчеркивается и частушечным характером приводимых строк:

Эх ты, горе *горькое*,
Сладкое житье!
Рваное пальтишко,
Австрийское ружье.

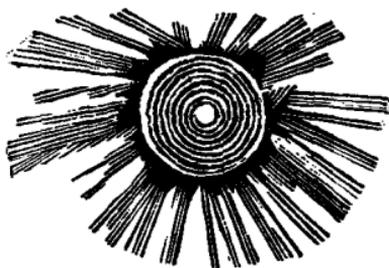
Тот же контраст, противопоставление как прием, внутренне оправданный, видим в стихах «На поле Куликовом»:

И падают *светлые* мысли,
Сожженные *темным* огнем...

Для Блока, поэта, «совмещающего в себе полярные начала», антонимические эпитеты — типичное явление. Так в поэтическом микромире отразилась главная особенность всего творчества поэта.

Антонимические эпитеты великого лирика Блока и есть постижение того состояния человека, предметов и явлений мира, которое можно с полным правом назвать гармонией контраста.

Кандидат филологических наук
Г. В. КОНДАКОВ
Горно-Алтайск



«МОРЕ - СМЕЯЛОСЬ»

В статье «О том, как я учился писать», отвечая на вопросы своих многочисленных корреспондентов и начинающих литераторов, М. Горький большое внимание уделил языку художественных произведений. Подчеркнув, что писатель должен «употреблять слова с точностью самой строгой», настойчиво добиваться пластичности изображения, не нарушать даже малейшими неточностями правды искусства, он отметил ряд своих собственных неудач в употреблении слов, в построении образов. Была упомянута и фраза «море смеялось». О ней Горький высказался довольно строго: «„Море смеялось“, — писал я и долго верил, что это — хорошо. В погоне за красотой я постоянно грешил против точности описаний, неправильно ставил вещи, неверно освещал людей».

Эти слова были написаны в 1928 году, когда Горький работал уже в новой стилевой манере, более сдержанной, «скупой» и точной. Кроме того, чтобы оценить полемическую заостренность статьи, нужно помнить, что молодая советская литература особен-



но сильно страдала в то время от чрезмерного увлечения «красивостью», грандиозностью. Именно поэтому Горький к своим прежним произведениям отнесся с чрезмерной строгостью. Но замечания об излишней красочности речи у молодого Горького высказывали и такие большие художники, как Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, В. Г. Короленко, в период опубликования его первых рассказов и повестей. «Описания природы художественны; Вы настоящий пейзажист,— писал Горькому Чехов.— Только частое уподобление человеку (антропоморфизм), когда море дышит, небо глядит, степь нежится, природа шепчет, говорит, грустит и т. п.,— такие уподобления делают описания несколько однотонными, иногда слащавыми, иногда неясными; красочность и выразительность в описаниях природы достигаются только простотой, такими простыми фразами, как „зашло солнце“, „стало темно“, „пошел дождь“ и т. д.— и эта простота свойственна Вам в сильной степени, как редко кому из беллетристов».

В своих отзывах Чехов был прав не только тогда, когда отмечал «особенную несдержанность в описаниях природы» у Горького, но и когда подчеркивал его умение писать просто. Горький же, несмотря на то, что всегда прислушивался к подобным замечаниям своих великих современников и высоко ценил их мнение, несмотря на то, что владел кистью реалиста и постоянно совершенствовал свое мастерство правдивого и точного отражения действительности, все-таки не отказался и от своей многокрасочной, приподнятой манеры. В «Сказках об Италии», в рассказах цикла «По Руси», в «Исповеди» и ряде других произведений романтическая струя осталась необычайно сильной, а пейзажным зарисовкам в них свойственна и поэтическая приподнятость и широкий антропоморфизм.

Следует оговориться, что речь идет не о приеме олицетворения как таковом. Горький всегда считал антропоморфизм необходимым и естественным в художественной речи, тем более, что он свойствен народному языку. Так, в той же статье «О том, как я учился писать» он замечал: «Есть люди, которым кажется, что антропоморфизм неуместен и даже вреден в искусстве словесном, но люди эти сами говорят: „мороз щипал уши“, „солнце улыбалось“, „наступил май“, они не могут не говорить: „дождь идет“, хотя дождь не обладает ногами, „погода подлая“, хотя явления природы не подлежат нашим моральным оценкам».

Особенность горьковской художественной речи — в высокой насыщенности олицетворениями, тропами, яркими эпитетами. И Горький продолжал писать так вполне сознательно. Одну из важнейших задач искусства он видел в том, чтобы возбудить в читателе активное отношение к жизни, заставить его почувствовать

радость бытия, научить видеть красоту мира и человека. «Право же,— писал он Чехову,— настало время нужды в героическом: все хотят возбуждающего, яркого, такого, знаете, чтобы не было похоже на жизнь, а было выше ее, лучше, красивее». Поэтому и в описаниях природы Горькому часто важна была не столько точность изображения, сколько богатство красок, праздничная приподнятость, эмоциональная насыщенность. В системе художественно-изобразительных средств, направленных на решение этой задачи, выражение «море смеялось» воспринималось как важный и необходимый элемент.

Вспомним рассказ Горького «Мальва». Первая фраза в нем: «Море — смеялось». Сразу же заключенный в пей образ воспринимается как особо значительный: он выделен и подчеркнут не только тем, что фраза вынесена в начало рассказа, но и ее обособленностью в отдельном абзаце, присущей ей своеобразной интонацией. Фраза звучит несколько замедленно благодаря тому, что тире расчленяет ее на две части, имеющие каждая свое ударение.

Эта фраза — как ведущая тема в музыкальном произведении: она определяет его общую тональность, служит раскрытию основной идеи; проходя через все произведение, развиваясь и обогащаясь, она выступает в различных вариациях. «Море — смеялось» — начало; затем «море смеялось» — уже без тире, с иной интонацией и в связи с развитием сюжета с иными обертонами смысла выступает в середине рассказа; входит оно и в заключительный аккорд: «Волны звучали, солнце сияло, море смеялось». Образ «смеющегося моря» повторяется неоднократно: «Ласковый ветер с моря приносил брызги волн почти к их ногам, а неугомонный смех моря все звучал...»; «И пустынное море смеялось, играя отраженным солнцем, и легионы волн рождались, чтобы взбежать на песок, сбросить на него пену своих грив, снова скатиться в море и растаять в нем»; «Перед ним [Василием] было море. Смеялись волны, как всегда шумные, игривые». Море у Горького не только смеется, но и улыбается: «Под легким дуновением знойного ветра оно [море] вздрагивало и, покрываясь мелкой рябью, ослепительно ярко отражавшей солнце, улыбалось голубому небу тысячами серебряных улыбок».

Этот образ в рассказе не единичен; все сверкающее красками описание моря, как и вообще природы, построено на олицетворениях. Они так ярки, что заставляют ощущать отсвет живого образа при самых привычных (прямых и перелосных) употреблении слов: «Потом на *взволнованной* воде появилась мокрая голова Якова...»; «Звук был громкий и досадливый,— точно баркасу хотелось оторваться от берега, уйти в широкое, *свободное* море и он сердился на канат, удерживавший его»; «И даже неугомонные

волны, *избегая* на песок косы, звучали не так *весело и шумно*, как днем».

Красочное описание природы служит не только раскрытию красоты мира, но и утверждению радости жизни. Поэтому особое значение в художественной ткани рассказа приобретает система образов, созданных на основе значений слова *смеяться* и семантически близких ему: «Солнце, *смеясь*, смотрело на них, и стекла в окнах промысловых построек тоже *смеялись*, отражая солнце»; «...сверкало на солнце *веселое*, могучее море...»; солнце будит «сонную землю *радостным* блеском лучей восхода».

Эта основная мелодия в изображении пейзажа как бы *переливается* в характеристику романтического героя: радость, веселье, смех — основные тона в описовке Мальвы. В некоторых контекстах эти краски в описаниях моря и Мальвы сливаются в одно целое: «Мальва, обняв руками колени, тихонько покачивала корпусом, рассматривая зелеными глазами сверкающее, веселое море, и улыбалась одной из тех торжествующих улыбок, которых так *много* у женщины, понимающей силу своей красоты».

Слова *смеяться*, *улыбаться* пронизывают всю речевую ткань рассказа, проходят в нем лейтмотивом и в связи с выраженной в нем философски-эстетической концепцией приобретают обобщенно-символическое значение.

Хотя в семантико-стилистической системе рассказа «Мальва» и в ряде других произведений Горького слова *смеяться* (смех), *улыбаться* (улыбка) выполняют особую художественную функцию, их образное использование опирается на общелитературную традицию. В толковых словарях русского языка отмечено, что образные употребления этих слов развиваются на основе их прямых, номинативных значений: смеяться — «издавать смех, выражая радостное настроение»; улыбаться — «улыбкой выражать радость, удовольствие». Это подтверждается рядом иллюстраций из произведений различных писателей.

У М. Горького в образных контекстах эти глаголы и производные существительные обладают разнообразными смысловыми оттенками. Так, они могут развивать свои значения в направлении переносного — «вызывать радость, создавать радостное настроение; выражать радость»: «Страшно хочется жить, — так жить, чтоб *смеялись* старые камни и белые кони моря еще выше вставали бы на дыбы; хочется петь хвалебную песню земле, чтоб она, опьянев от похвал, еще более щедро развернула богатства свои, показала бы красоту свою...».

Подобное осмысление обычно поддерживается лексическим окружением, типичным для этих слов в прямых значениях (обозначающих действия человека): «Уже на прибрежных кустарни-

ках виден желтый лист, но все вокруг улыбается двойственной, задумчивой улыбкой молодухи, для которой пришла пора впервые родить,— и страшит это ее и радует»; «Проснулись люди, и вот они идут на свои поля, к своему труду,— солнце смотрит на них и улыбается: оно лучше всех знает, сколько сделано людьми доброго на земле...». Тот же семантический акцент иногда присущ этим глаголам и не в пейзажных зарисовках:

«— Замечаете ли вы,— тихо говорила девушка,— как быстро люди знакомятся? Все ищут друзей, находят их, все становятся доверчивее, смелее.

Ее слова точно улыбались».

Однако употребления такого рода встречаются гораздо реже.

В произведениях Горького в смысловой структуре глаголов смеяться, улыбаться при образном употреблении выделяется и другая линия развития, связанная с их описательно-изобразительной функцией. При этом круг лексических связей глаголов, как правило, ограничен существительными, обозначающими предметы, излучающие блеск, свет, сияние, а значение близко к переносному: 'ярко блестеть, сиять; сверкать, излучать свет, сияние; переливаться, выделяться яркими красками'. Контекст в таких случаях не содержит каких-либо специальных указаний на выражение настроения: «Ярко улыбалось безоблачное небо, изливая жгучий зной...»; «Вода улыбалась и гримасничала».

Ассоциации смеяться — блестеть могут осложниться сопоставлениями, основанными на каких-либо иных признаках. Например, отблеск дрожит — трясись от смеха: «Пламя в печи все трепещет, все шаркает по кирпичу лопата пекаря, мурлыкает вода в котле, и отблеск огня на стене все так же дрожит, безмолвно смеясь». Чаще всего это различные зрительные ассоциации, которые получают в тексте более или менее обширное разъяснение или выступают в сравнительных конструкциях: «Смотрите, смотрите! — вскрикивала Варенька, когда молния рвала тучу.— Видели? Туча точно улыбается — неправда ли? Это очень похоже на улыбку... есть такие люди, угрюмые и молчаливые... молчит, молчит такой человек и вдруг улыбнется — глаза загорятся, зубы сверкнут...»; «Лодка заколыхалась, и от нее по воде пошли круги... казалось, вода улыбается широкой, темной и страшной улыбкой».

Образное употребление глагола смеяться иногда имеет в своей основе сходство по звучанию, однако примеры такого использования у Горького единичны: «Всхлипывает вода, не то плачет, не то смеется робко»; «...а неугомонный смех моря все звучал».

Наиболее характерно для стиля Горького такое образное употребление слов смеяться (смех), улыбаться (улыбка), при котором севмецаются, предстают в неразрывном единстве оба вида ассоциа-

ции: 'блестеть, сверкать, излучать свет' и 'вызывать радостное настроение'. В каждом конкретном случае на первое место могут выступать то одни, то другие из них. Это зависит от разнообразных условий. Подчеркнутая передача настроения радости, как правило, определяется общей семантико-стилистической системой, всей структурой художественно-изобразительных средств произведения или цикла произведений. Это можно наблюдать в рассказе «Мальва», в «Сказках об Италии», в цикле «По Руси».

Белика роль в этом отношении и отдельных устойчивых в творчестве писателя образов, закрепившихся обобщенно-символических значений слов. Так, в поэтике Горького особое место занимает символика солнца. Оно — «божественный источник света, творящего жизнь», «источник жизни и счастья», «владыка жизни», «бог — Солнце». Солнце дарит человеку ощущение радости, будит его лучшие, благородные чувства. В повести «В людях» Горький писал о себе: «Я как-то особенно люблю солнце, мне нравится самое имя его, сладкие звуки имени, звон, скрытый в них; люблю, закрыв глаза, подставить лицо горячему лучу, поймать его на ладонь руки, когда он проходит мечом сквозь щель забора или между ветвей... Когда солнце поднимется над лугами, я невольно улыбаюсь от радости».

Солнце и радость — эти понятия у Горького постоянно сближаются, поэтому естественны и закономерны такие сочетания: солнце улыбалось, солнце смеялось. Образное употребление этих глаголов в его произведениях чаще всего связано с олицетворением именно солнца: «Улыбается солнце, желтоносые грачи блестят в его лучах черной сталью оперения, хлопотливо каркают, строят гнезда. На припеке трогательно пробивается из земли к солнцу ярко-зеленая щетинка травы. Телу — холодно, а в душе — тихая радость и тоже возникают нежные ростки светлых надежд»; «А бледное небо — печально, и гневное море — угрюмо. Одна только солнце смеется, склоняясь покорно к закату». Но и в тех случаях, когда в пейзажных зарисовках эти глаголы относятся к другим существительным (море, волны, небо, горы, цветы и т. п.), они формируют образы, так или иначе связанные с символикой солнца: «...вершины горы улыбаются ласковой улыбкой — точно говоря мягким теням ночи: „Не бойтесь — это солнце!“»; «Красно улыбаются навстречу заре яркие цветы гвоздики»; «Брызнули лучи весеннего солнца и заиграли на воде золотом и радугой. Дунул ветер, все дрогнуло, ожило и засмеялось».

С рядами тропов, олицетворяющих солнце, соприкасается образное использование слова *огонь*; ведь огонь — «гордое дитя солнца», по словам Горького. Эта близость сказывается на употреблении рассматриваемых глаголов: «Костер — точно охалка красных

маков, азалий и еще каких-то желтых цветов; он живет своей красивой жизнью, старая и согревая, умно и весело смеясь ярким смехом». А вот пример из романа «Мать», в котором как бы сливается символика солнца и революционная символика красного знамени: «Павел махнул знаменем, оно распласталось в воздухе и поплыло вперед, озаренное солнцем, красно и широко улыбаясь».

Задача образного употребления глаголов *смеяться*, *улыбаться* — не только описывать (блестеть, сиять и т. п.), но и передавать настроение — всегда подчеркнута и в тех контекстах, где эти глаголы выступают в тесной взаимосвязи со словами, обозначающими радость, веселье. Это можно было наблюдать в приведенных примерах из рассказа «Мальва».

Для поэтической системы Горького-романтика в высшей степени характерно установление тесного взаимодействия между рядами *блестеть*, *сиять*, *сверкать*, *светить*, с одной стороны, и *радоваться*, *веселиться*, а также *улыбаться*, *смеяться* в их прямых образных значениях — с другой. Слова этих семантических рядов выступают в однотипных контекстах, по отношению к одним и тем же или сходным предметам, они как бы взаимозаменяемы: «...в темном бархате зелени сверкает золото лимонов, апельсин, ярко улыбаются алые цветы гранат»; «На пожарище красно сверкает битое стекло» и «...разноцветно блестит на солнце битое стекло и точно смеется»; «...все сверкают его белые зубы, улыбаются».

Когда речь идет о человеке, слова *улыбка*, *смех*, *усмешка* соединяются с глаголами *сверкать*, *сиять*, *светиться*: «улыбаясь сияющей улыбочкой»; «в глазах его светится-играет умненькая усмешечка»; в образном контексте — «сверкали ласковые голубые улыбки неба». В свою очередь *блеск*, *сияние* и подобные часто имеют определения *веселый*, *радостный*, *улыбающийся*: «радостный блеск восхода»; «улыбающийся блеск глаз»; «веселыми искрами летает смех»; «умной такой улыбкой блестит железо».

Постоянное сближение лексики этих рядов не остается бесследным для семантики слов *сверкать*, *блестеть*, *сиять*, *блеск*, *сияние*, во многих пейзажных зарисовках они как бы приобретают в своих прямых значениях дополнительный оттенок — «сверкать, сиять, излучая радость, вызывая радостное настроение».

На основе этих установившихся семантических связей и ассоциаций происходит и более широкое взаимовлияние образных употреблений, проявляется как бы своеобразная взаимообратимость образов. Так, мелкая рябь моря, отражающая солнце, названа улыбкой, а улыбка сравнивается с веселой рябью: «...и когда музыка играет встречу им гимн Гарибальди, — по этим худеньким, острым и голодным личикам пробегает, веселой рябью, улыбка удовольствия». По отношению к сверкающим предметам образно употреб-

ляется глагол *смеяться*, поэтому становится возможным и своеобразный контекст, в котором глагол *сверкать* отнесен к смеющимся детям: «...и всюду, как самоцветные камни на пышной мантии сказочного короля, сверкают, смеясь и ликуя, дети, веселые владыки земли» и т. п.

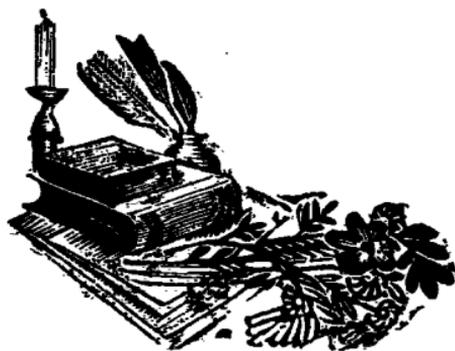
Образное употребление глаголов *смеяться*, *улыбаться* (смех, улыбка) у Горького включается в стройную, устойчивую систему. Эта система не остается изолированной, разными своими сторонами она соприкасается с рядом других, столь же характерных для поэтики его романтических произведений.

В свете философско-эстетических задач, которые решаются в этих произведениях, лексика описаний природы приобретает дополнительные качества: обобщенно-символическое звучание, некоторое эмоциональное наполнение, поэтический ореол, дополнительные ассоциативные связи. Употребление указанных слов опирается на системные отношения, складывающиеся в общенародном языке, и это, не лишая новизны и свежести созданной с их помощью образности, делает ее естественной, ненадуманной, ясной в своих основаниях.

В реалистических произведениях Горького, особенно в его крупных романах, пейзажные зарисовки выполняют иную функцию, закономерно, что в них среди художественно-изобразительных средств образа «море смеялось» мы не найдем. И все-таки отсвет связей, которые установились в поэтике Горького между рядами *блестеть*, *сверкать* и *смеяться*, *улыбаться*, иногда проявляется и здесь. В романе «Жизнь Клима Самгина»: «Самовар улыбался медной, понимающей улыбкой»; «...бархатное небо наполняло сад голубым сиянием, и в блеске весенней радости было бы неприлично говорить о печальном»; «Макаров ... сиял улыбкой».

М. Горький, великий художник, предостерегал молодых писателей от увлечения «красотами слога», осуждал склонность многих из них к пустому украшательству, и в этом он был, несомненно, прав. Но оценка Горьким своего собственного творчества была часто излишне суровой. Стремление писать красиво в его романтических произведениях было, как правило, так органически подчинено художественному замыслу, так закономерно вытекало из общей идейной направленности их, что красота, созданная силой горьковского слова, была подлинной красотой, не нарушающей правды искусства.

В. А. СПРОТИНА
доцент Киевского государственного
университета



СИНТАКСИС ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ

ЧЕМ отличается поэтическое произведение от всех других видов высказывания? Действительно ли это «особая» форма речи? Да, в том смысле, что она «необычно» (в противоположность прозаической речи) функционирует, что она пользуется присущими только ей стихотворными приемами, языковыми средствами, системой образов. Она «особым образом организована», как обычно говорят исследователи этого стиля. Вместе с тем, анализируя поэзию, не следует забывать, что она не образует замкнуто-самостоятельной сферы в системе языка. Она складывается из единиц общенационального языка и является формой его функционирования. Но поэтическая речь обладает своими закономерностями, правилами и необычными исключениями. Языковая норма и «нормативные» правила обычно представляют собой обобщения явлений прозаической речи. Поэтические произведения лишь в редких случаях служат предметом лингвистического анализа в целях определения нормы. Да и в этих случаях для иллюстрации соответствующих правил обычно используются отрезки речи, которые в грамматическом отношении подобны прозаическому тексту.

Правда, в языковедении вопрос о поэтической речи еще мало разработан. Даже на такой общий вопрос: сложнее или про-

ще, чем в прозе, поэтический синтаксис, еще нельзя ответить однозначно. Ведь само понятие простоты или сложности не определено точно. Поэтому здесь существуют разные мнения. Профессор Н. С. Поспелов, исследуя поэтический синтаксис, говорит, например, о «синтаксическом своеобразии стихотворной речи и о большей ее синтаксической сложности в сравнении с прозаической речью ...» (Синтаксический строй стихотворных произведений Пушкина. М., 1960, стр. 8). Но если взять только внешнюю, количественную сторону структуры поэтической речи, то вряд ли можно утверждать, что она сложнее прозаической. Для примера вспомним отрывок из «Панорамы Москвы» Лермонтова и XXXVI строфу из «Евгения Онегина» Пушкина, где дается описание Москвы.

«Кто никогда не был на вершине Ивана Великого, кому никогда не случилось окинуть одним взглядом всю нашу древнюю столицу с конца в конец, кто ни разу не любовался этой величественной, почти необозримой панорамой, тот не имеет понятия о Москве, ибо Москва не есть обыкновенный большой город, каких тысячи; Москва не безмолвная громада камней холодных, составленных в симметрическом порядке ... нет! у нее есть своя душа, своя жизнь. Как в древнем римском кладбище, каждый ее камень хранит надпись, начертанную временем и роком, надпись, для толпы непонятную, но богатую, обильную мыслями, чувством и вдохновением для ученого, патриота и поэта!.. Как у океана, у нее есть свой язык, язык сильный, звучный, святой, молитвенный!.. Едва проснется день, как уже со всех ее златоглавых церквей раздается согласный гимн колоколов, подобно чудной, фантастической увертюре Бетховена, в которой густой рев контрбаса, треск литавр, с пением скрышки и флейты образуют одно великое целое; и мнится, что бестелесные звуки принимают видимую форму, что духи неба и ада свиваются под облаками в один разнообразный, неизмеримый, быстро вертящийся хоровод!..».

Но вот уж близко. Перед нами
Уж белокаменной Москвы,
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.
Ах, братцы! как я был доволен,
Когда церквей и колоколен,
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!

Или сравним описание Московского Кремля в поэтической и прозаической формах, столь ярко и умело использованных Лермонтовым:

«Что сравнить с этим Кремлем, который, окружась зубчатыми стенами, красуясь золотыми главами соборов, возлежит на высокой горе, как державный венец на челе грозного владыки?.. Он алтарь России ... Давно ли, как баснословный феникс, он возродился из полыхающего своего праха?.. Что величественнее этих мрачных храмин, тесно составленных в одну кучу, этого таинственного дворца Годунова ...

Нет, ни Кремля, ни его зубчатых стен, ни его темных переходов, ни пышных дворцов его описать невозможно ... Надо видеть, видеть ... надо чувствовать все, что они говорят сердцу и воображению!..» (Панорама Москвы).

Кто видел Кремль в час утра золотой,
Когда лежит над городом туман,
Когда меж храмов с гордой простотой,
Как царь, белеет башня-великан?

Сложные, многоступенчатые, разветвленные синтаксические периоды значительно менее свойственны стихотворной речи. Она не допускает излишнего расширения текстового материала. В кратком, «сжатом» синтаксисе стихотворного произведения нет ничего поэтически нейтрального. И в этом действительно заложена сложность поэтического синтаксиса.

В чем же состоят важнейшие причины, вызывающие очевидные отличия в строе поэтической речи по сравнению с любой формой речи прозаической?

Бесспорно, что каждый стиль современного литературного языка практически может иметь письменную и устную форму. Так, например, когда имеется деловой документ (образец официально-делового стиля), то именно этот написанный вариант предназначается для пользования: его читают. Репортер, подающий злободневную заметку в газету (публицистический стиль), также не предназначает свою информацию для особого, устного воспроизведения.

Обратимся к художественной литературе.

Поэтическая речь не воспроизводит устную речь, как это стремится делать драма, но вместе с тем, в отличие от романа или повести, письменный вариант поэтического произведения предназначается в первую очередь для прочтения вслух или хотя бы для произнесения его мысленно. Именно это обстоятельство — непосредственная установка на прочтение, декламацию стихотворения — накладывает отпечаток на «поэтическую грамматику», а в ней — на поэтический синтаксис, прежде всего.

Следующим условием, определяющим специфику поэтической речи, может быть назван ритм, который подчиняет себе все компоненты стихотворения, в том числе и его композиционную структуру. Именно ритм создает стиховую форму любого поэтического произведения, даже нерифмованного, даже астрфического.

Но и ритмический признак еще не исчерпывает всего многообразия особенностей поэтической речи,— о ритме можно говорить и применительно к прозе. Есть, как известно, даже специальный, ритмизованный прозаический жанр — стихотворения в прозе (с чем у нас немедленно ассоциируются впечатления о чудесных миниатюрах Тургенева, воспевавшего в них, в частности, «великий, могучий, правдивый и свободный» русский язык).

Однако, проявляя «несовместимость» к целому ряду синтаксических категорий, привычных понятий прозы, например, «нарушая» в пределах строки границы предложения или порядок размещения компонентов словосочетания, а иногда отказываясь и от таких поэтических норм, как строфа или рифма, поэтическая речь тем не менее остается верна единому композиционно-ритмическому условию. Оно-то, собственно, и создает любую форму стихотворения: независимо от поэтического жанра или стихового размера структурной основой поэтической речи является строка (или стихоряд).

В поэтическую строку вкладывается смысловое содержание именно тех речевых единиц, которые в нее вписываются; их оформлению подчиняется синтаксис данной строки (очень часто в разрез с действующими нормами прозаической речи), и независимо от частных интонационных отрезков в ее пределах, строка в целом является основной ритмико-интонационной группой стихотворения.

Строка — явление графическое, соответствующее речевой интонационной группе. Если поэтический текст не писать строчно, потеряется последовательность поэтических образов и четкость ритма, не допускающего вариантов. Именно благодаря особенностям поэтического стихоряда обычные, нейтральные единицы речи превращаются в органическую часть поэтического произведения. Например, словосочетания «зелень нивы», «теплый дождь», «приход весны» не выделяются стилистически и ничем не проявляют своей отнесенности к поэтической речи; но, размещенные согласно стиховым структурно-интонационным канонам, они составляют элементы функционирующей поэтической речи; размещенные в ином порядке и написанные в строчку, они были бы частями прозаического текста:

Зелень нивы, рощи ленет,
В небе жаворонка трепет,

Теплый дождь, сверканье вод,—
Вас назвавши, что прибавить?
Чем иным тебя прославить,
Жизнь души, весны приход?

Ж у к о в с к и й. Приход весны

Строка представляет собой основное синтактико-интонационное и экспрессивно-смысловое членение стихотворения, его главную структурную и композиционную единицу, которой подчиняются действующие нормы национального языка. Правда, при этом весь поэтический комплекс в целом с точки зрения нормативного синтаксиса производит иногда впечатление бесконечных отклонений и просто нарушений привычных прозаических канонов. Но поэтические строки складываются не потому, что поэт «изменяет» прозаическую речь и ее синтаксис, не потому, что в поэтических целях рассыпается прозаический набор слов, а потому, что функционирование поэтической речи прежде всего и проявляется в специальной структурной организации речевого материала с тем, чтобы языковые возможности находили максимально экспрессивную реализацию.

Итак, поэтическая речь, обладая особенностями художественно-образительного плана, которые роднят ее со всеми видами словесного искусства, но отличают от любой формы нехудожественной прозаической речи, особым образом «относится» ко всем сторонам языка, отбирая в нем то, что ложится в виде поэтических образов на канву ритмизованного синтаксиса.

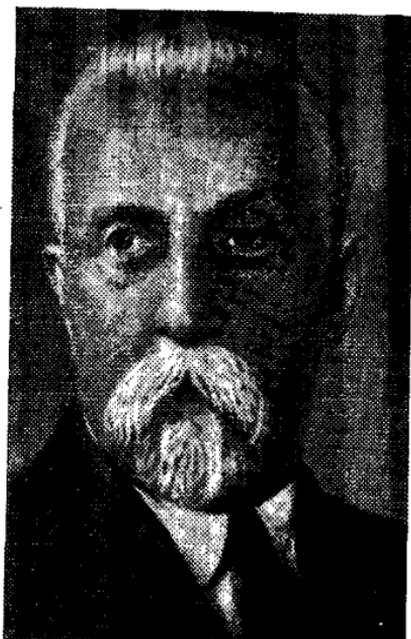
«Сущность поэзии — красота», — писал В. Г. Белинский. Однако понятие красоты, где и в чем бы оно ни проявлялось, не односторонне. В поэзии это связано не только с выбором слова и его прямым или переносным значением, но и с формой языковых конструкций, основой чего является грамматика. Еще Ломоносов писал о том, что «в грамматике все науки нужду имеют», но и в наши дни иногда возникает дисгармония в изучении поэзии со стороны ее литературных и языковых признаков.

Стилистико-синтаксические нормы поэтической речи часто нарушают прозаические «правила», узаконивая поэтические «отклонения», что в целом и составляет комплекс стихотворной формы речи. При изучении поэзии необходимо исследовать все перечисленные выше явления. Это ее внутренние законы, отличные от прозаических норм и правил, несмотря на то, что обе формы речи — это отражение единой общенациональной системы языка.

Н. В. ЛЕБЕДЕВА,

доцент МГПИ имени В. И. Ленина

НАРОДНАЯ РЕЧЬ В РАССКАЗАХ Н. Д. ТЕЛЕШОВА



Имя писателя Николая Дмитриевича Телешова можно встретить в биографии почти каждого литератора конца XIX и начала XX века: кружок телешовских «сред» с 1898 по 1918 год объединял передовых людей из художественной интеллигенции, солидарных в вопросах общественного прогресса. Здесь постоянно бывали писатели И. А. Бунин, В. В. Вересаев, А. И. Куприн, Д. Н. Мамин-Сибиряк, А. С. Серафимович, художник А. М. Васнецов, артисты Ф. И. Шаляпин, В. И. Качалов. Посещал кружок и А. М. Горький, писавший впоследствии Н. Д. Телешову: «Ваши „Среды“ имели очень большое значение для всех нас, литераторов той эпохи».

Первые неизгладимые представления о силе воздействия на умы и сердца людей народно-поэтической речи Н. Д. Телешов получил уже в детские годы от своей старой няньки, тульской крестьянки Арины Афанасьевны Ивановой, урожденной Прусаковой. Няня Арина знала множество старинных народных песен, сказов и сказок, былей-небылиц и притч. Уже в старости Николай Дмит-

риевич писал о ней: «Это она пела мне народные былины, когда мне было не более трех лет, это она научила и меня петь про Егория Храброго, царицу Демьяницу, про стадо серых волков, что впоследствии вошло в один из моих рассказов. И кто знает, не было ли в этих песнях какого-то зернышка, которое запало в детскую душу и дало свои побеги?..».

На протяжении всего творческого пути писатель настойчиво и радостно трудился над извечной проблемой сближения языка литературы с живой и красочной народной речью. В начальный период творчества, в 80—90-е годы, он только вводит в свои произведения народную речь и элементы образной системы фольклора с целью добиться большей выразительности языка и лучшей характеристики героев. С 900-х годов и до конца жизни он наряду с теми же приемами умело переосмысливает и перерабатывает целые устные народные притчи, легенды, сказы и сказки, с завидным мастерством превращая их в самобытные произведения художественной литературы.

Телешов любил умные народные шутки, ценил их язык. Он писал: «...остроумная шутка бывает иной раз значительно длиннее длинной речи». Крылатые народные выражения он вводит в речь своих героев. «Бывали и у вороны большие хоромы, а ныне и кола нет», — говорит сутяга Зверобоев (Мещанская драма); «Спеши, не спеши, а раньше возможности не поспишь», — заявляет паромщик Еремей (Хлеб-соль); «Дурная трава из поля вон», — выкрикивает Воронов в рассказе «Крамола», а Федор отвечает: «Бог не выдаст, свинья не съест!».

По совету Чехова в 1894 году Телешов едет на восток. «За Уралом, — вспоминает он, — я увидел страшную жизнь наших переселенцев, невероятные невзгоды и тягости народной, мужицкой жизни. И когда я вернулся, у меня был готов целый ряд сибирских рассказов...». Это прежде всего знаменитый цикл «переселенческих рассказов», взволновавших общественное мнение.

Поистине незабываемы народные образы этих людей да и авторское повествование о них в переселенческих рассказах, будь то: «сломавшийся» от натуги дед Устинич, его горемычная семья и внук (Самоходы. 1894), добродетельный Митрич — сторож барака для сирот, оставленных переселенцами (Елка Митрича. 1897), несчастный беглец сирота Семка и его неизвестный друг (Домой. 1898), обнищавший донельзя Матвей, его жена Арина и брошенный ими Николка (Нужда. 1898), сердобольный мечтатель Еремей у речного перевоза (Хлеб-соль. 1900).

Даже самые названия рассказов служат прямым подтверждением тех языковых задач «мудрой простоты», которые ставил перед собой автор. Надо обратить внимание на своеобразие жанра

этих рассказов. Здесь сделана попытка по-новому сблизить жанры очерка, рассказа и народной бывальщины.

Вот отрывок речи старика Еремея. В развитии сюжета и в системе образов он имеет узловое назначение. Этот страдалец болезненно сокрушался о том, что:

«Теснота завелась в народе... Тесно стало на свете, ох тесно!.. Места-то много, девать некуда, а теснота. И добра всякого много, а никому не хватает... У иного на двоих, на троих, а он один и все себе берегает, ну и теснота... А я бы... я бы не пожалел своего добра... И куда матушка правда подевалась... А мне каково? С своего брата бедняка гроши собираю... Хлеб-соль ем... нешто это порядок!..»; «И в этих вздохах чувствовалось ясно, как была для Еремея вкусна его ежедневная хлеб-соль».

Вот пример речи в рассказе «Елка Митрича». Отставной солдат, старик Митрич рассуждает:

«...всем будет праздник как праздник, а вот, говорю, ребятишкам-то, выходит, и нет настоящего праздника... Поняла?.. Оно праздник-то есть, а удовольствия никакого... Гляжу я на них, да и думаю; эх думаю, неправильно!.. Известно, сироты... ни матери, ни отца, ни родных... Думаю себе, баба: нескладно!.. Почему такое — всякому человеку радость, а сироте — ничего!».

В этом же рассказе писатель оригинально использовал в общем языковом сплаве один из тульских плясовых припевов. Он вложил этот припев в уста Митрича, в изображении того центрального момента в движении сюжета, когда «только стемнело, елку зажгли... Затем он взял гармошку и, наигрывая на все лады, подпевал:

Живы были мужики,
Росли грибы-рыжики,—
Хорошо, хорошо,
Хорошо-ста, хорошо!».

И это помогло автору еще более усилить светлый радужный фон «праздника елки в нищем и забытом сиротском бараке».

Как видим, уже в переселенческих рассказах Телешов наряду с живой разговорной речью иногда вводит элементы фольклора. В 1905 году он написал «Слепцы». Здесь литературный путевой очерк сплавлен в единое художественное целое с фольклором и острой политической сатирой. Произведение написано по мотивам любившейся ему с детских лет древней русской песни-сказки о Егории Храбром и злодее царице Демьянице, о том, как Демьянице велел Егория «во пилы пилить, в топоры рубить, на воде топить, во смоле варить; но ничего Егорию не вредилося», — и как «приблизился гневный Егорий ко дворцу Демьяница. И забросался царь, заметался царь по своим белым каменным палатам... И от-

ветствовал ему Егорий грозным голосом: — Не даю тебе срока ни минутою!».

Легко понять, что писатель, знаток фольклора и родного языка, сделал в 1905 году эту старинную песню-сказку буквально богатырским сказанием, созвучным бурным событиям эпохи.

Причудливый язык и образная система народной фантастики легли в основу цикла сказок. Вернувшись в 1919 году к этому жанру, Телешов написал сказку-легенду «Живой камень» о богатыре, защитнике народа от врагов; сказку «Самое лучшее» о том, как пастух нашел по подкове клад; сказку «Крупеничка» об освобождении из татарского плена красавицы Крупенички и о «Дне Гречишницы» — времени посева гречихи.

В эту сказку включена песня:

Крупеничка, красная девица,
Голубка ты наша, радость-сердце,
Живи, цветы, молодежь,
Будь всем добрым людям на радость.

Здесь же описан и старинный народный обычай угощения кашей досыта в «День Гречишницы» всякого странника, чтобы «греча уродилась на полях видимо-невидимо».

И еще одна сказка, основанная на фольклоре, была создана Телешовым уже в 1921 году, — это «Зоренька», сказка о хитроумном молодце-женихе, сумевшем получить себе в жены красавицу Зореньку — дочь царя Косаря, вопреки его злым козням.

А. П. ПРУСАКОВ

ПОЧТА «РУССКОЙ РЕЧИ»

«Забывшие» слова открыто и закрыто

то часа». «Работают» и рестораны, в том числе первоклассные, приглашающие гостей отнюдь не на работу, а для приятного времяпрепровождения. И магазины «работают», но эти последние чаще «производят торговлю».

Дурному примеру каждую весну следуют учебные заведения: и скромные ПТУ, и солидные университеты «производят прием». А ведь есть отличная формула, точно и кратко выражающая суть дела: магазин *открыт*, ресторан *открыт*, ателье — если угодно — *закрыто*. Не оставит сомнения и объявление: *открыт* прием, *открыта* (а не производится) запись.

ЧЕГО только не приходится читать на дверях мастерских, ресторанов и учреждений, интересуясь простым вопросом, в какие именно часы здесь готовы предоставить посетителю свои услуги. Чаще всего: кафе *работает*, а далее нередко еще суровее: «впуск посетителей до такого-

Г. М. Кока
Ленинград

КОГДА я был еще подростком, мне посчастливилось быть свидетелем небывалого до того времени события и торжества: В центре Москвы, во главе Тверского бульвара, перед нироккой Страстной, ныне Пушкинской, площадью, в 1880 году 6 июня открывался памятник Пушкину — первый памятник писателю.

Обычно памятники воздвигались на улицах Москвы только царям. И это отметил присутствовавший на торжестве Островский. Возглашая тост за русскую литературу, он метко сказал:

— Сегодня на нашей улице — праздник!

Хорошо помню красивую голову маститого писателя Тургенева с пышными седыми волосами, стоявшего у подножия монумента, с которого торжественно только что сдернули серое покрывало. Помню восторг всей громадной толпы народа, в гуще которого находился и я, тринадцатилетний юнец, восторженный поклонник поэта. Помню бывших тут же на празднике писателей — Майкова, Полонского, Писемского, Островского. Помню и сухощавую, сутулившуюся фигуру Достоевского и необычайное впечатление от произнесенной им речи, о которой на другой день говорила вся Москва.

Речь эта была сказана не здесь, на площади, у памятника, а в Колонном зале нынешнего Дома Союзов. Возглашая тост за русскую литературу, он говорил:

— Пушкин раскрыл нам русское сердце и показал нам, что оно неудержимо стремится к всемирности и всечеловечности... Он первый дал нам прозреть наше значение в семье европейских народов...

Вечером в торжественном концерте, состоявшемся при участии огромного оркестра и знаменитых артистов, Достоевский, выйдя на эстраду, сутулился и ставши как-то немножко боком к публике, прочитал пушкинского «Пророка» резко и страстно:

— Восстань, пророк!..

И закончил с необычайно высоким нервным подъемом:

— Глаголом жги сердца людей!..

Полагаю, что никто и никогда не читал этих вдохновенных строк так, как произнес их не актер, не профессиональный чтец, а писатель, проникнутый искренним и восторженным отношением к памяти величайшего русского поэта.



ВОСПОМИНАНИЯ
ОБ ОТКРЫТИИ
ПАМЯТНИКА
А. С. ПУШКИНУ

*

Создатель памятника, одного из лучших по простоте, красоте и выразительности, Александр Михайлович Опекушин был выходцем из простого народа, из крепостной крестьянской семьи, сперва — самоучка, затем признанный художник и, наконец, академик.

Вспоминаются мне также и увлекательные разговоры и рассказы о многолюдном банкете в связи с торжествами, где я тогда в качестве постороннего юнца присутствовать, конечно, не мог, где Катков, когда-то близкий Белинскому, но потом резко изменивший свои политические взгляды, протянул было к Тургеневу свой бокал, чтобы чокнуться. Но тот отвернулся.

Тургенев на этом торжестве говорил:

— Будем надеяться, что всякий наш потомок, с любовью оставившийся перед изваянием Пушкина и понимающий значение этой любви, тем самым докажет, что он, подобно Пушкину, стал более русским и более образованным, более свободным человеком...

Не знаю, остался ли кто-нибудь в живых из свидетелей этого великого торжества и праздника литературы, этого первого чествования памяти русского писателя, который «в свой жестокий век восславил свободу» и верил, что «Россия вспрянет ото сна и на обломках самовластья» напишет имена тех, кто боролся и погиб за будущее счастье народа.

Эти дни открытия памятника Пушкину остаются для меня одними из самых радостных и светлых, хотя все это и было семьдесят пять лет тому назад.

ИЗ ПИСЕМ Н. Д. ТЕЛЕШОВА

«Иван Сергеевич Тургенев. Я всегда любил... его чудесные „стихотворения в прозе“, как образец красоты русского языка. Да и все его романы были тоже в своем роде „стихотворениями в прозе“. Я всегда учился у него, как надо писать, и если мой литературный „язык“ хоть сколько-нибудь приемлем, я обязан этим всецело И. С. Тургеневу».

«...Какие крылатые слова из „Горе от ума“ мне более нравятся — трудно сказать. Их не перечислить. Так их много, и все они значительны, метки и незабываемы!..».

«...Тургеневские стихотворения в прозе я высоко ценил и даже в юности пытался им подражать, считая, что лучшего стиля, как этот, и придумать невозможно. Вот и учился я у него стилю и увлекался им в высшей степени...».

«...Чехов никогда не „расплескивался“ длинными тирадами, а умел очень кратко, в самых сжатых словах, дать определение, полный смысл и правды. В очень коротких словах».

«...Как прост и краток был Антон Павлович!..»

Чехов любил и ценил Белоусова как цельную натуру и как простейшего писателя».

«... „Пустолаечки“ — это выражение Ивана Бунина, который называл так всех, кто не имел своего мнения, а присоединялся к первому попавшемуся чьему-то крепкому слову...».

«...Название для трактирных служащих „шестерка“... было типичное название всех трактирных официантов. Даже, когда я писал рассказ „Начало конца“, я назвал своего героя, трактирного служащего, Девяткиным...».

«Выражение „выворачивать кафтан“... было в ходу в свое время... Случалось нередко, когда купец, задолжав по векселям разным лицам солидную сумму, созывал своих кредиторов, как тогда говорилось, „на чашку чая“... Если кредиторы видели, что дело это мошенническое, что купец, как говорилось тогда, „кафтан выворачивает“, что деньги припрятаны, а собственный дом переведен заблаговременно на имя родни, то продавали остатки имущества с аукциона, а самого купца сажали в „Яму“, пока он не раскается и не выложит припрятанные деньги».

«В академическом „Словаре русского языка“ (1912, т. 4) я нашел сведения относительно „камаринского“. Происходит от слова *комар*, но многие пишут по произношению, то есть... через *а*. Так, например, приводится краткая выписка из Тургенева, Лермонтова, Боборыкина и из чеховской Каштанки. Все эти авторы писали через *а*: камаринский. Стало быть, не так уж я виноват, когда писал: камаринский».

«...В старину новогодние визиты были в большом ходу. Обычно угощали закуской и рюмочкой. Бывали и излишества. „Навизитился“ — говорили про таких...».

ПОЧТА «РУССКОЙ РЕЧИ»

Загляните в толковый словарь

ПРИНИМАЯ в течение ряда лет вступительные экзамены в педагогические вузы, я собрал материал, характеризующий запас слов абитуриентов, знание ими значений некоторых иностранных слов, распространенных в русском языке. Предлагаю лишь несколько слов, значение которых указывали абитуриенты. На мой взгляд, на этом материале можно

сделать попытку разобраться в причинах, вызывающих неправильное толкование значений слов. Думаю, что некоторым читателям «Русской речи» небезынтересно будет проверить себя по словарю.

Банальный — сухой, резкий человек; человек мягкого характера; самовлюбленный.

Букинист — человек, стоящий на позициях идеализма; человек, делающий добро; человек, составляющий букеты.

Догма — поспешный вывод; большое нагромождение предметов; порода собак.

Каламбур — неразбериха; инструмент; беспорядочный набор слов.

Кредо — равенство; название ткани; музыкальный прием.

Престиж — свое место в жизни; цель, достижение чего-либо; сохранение существующего положения.

Приоритет — влияние; независимость; самостоятельность.

Регламент — рисунок; разносчик реклам; ограничение.

Талисман — кукла; призывание к чему-либо; путеводитель.

Феномен — название одного из созвездий южного неба; теплый и сухой ветер, дующий с гор; фармацевтический препарат.

Фиаско — шансы на успех; неизбежность, судьба, рок; имя оперного героя.

К. М. Медведев
Кочетав

*Выдающиеся
отечественные
языковеды*

Евфимий Федорович

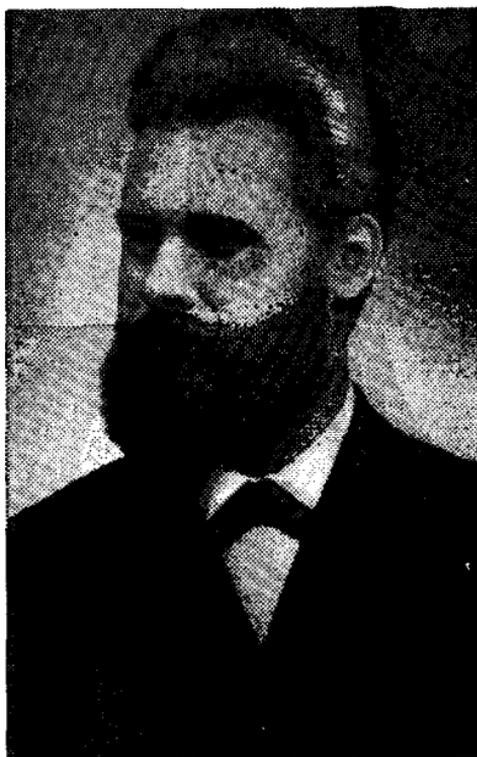
КАРСКИЙ

(1861—1931)

Город Гродно — один из красивейших городов БССР, расположен на берегу живописной, широкой реки Неман. До Великой Октябрьской социалистической революции в Белоруссии не было ни одного высшего учебного заведения. Сейчас только в Гродно три вуза. Город растет, ширится, много новых улиц. Одна из них носит имя академика Евфимия Федоровича Карского, его же имя присвоено Гродненской областной библиотеке.

Если из Гродно проделать путь протяженностью в 25 километров до села Лаша Гродненского района, то можно увидеть на школьном здании табличку: «Школа имени академика Е. Ф. Карского». Здесь же, в школе, и музей академика Карского.

При входе сложены рюкзаки. Это очередная экскурсия учащихся средних школ и студентов, пришедших пешком, чтобы посетить музей, послушать экскурсоводов, рассказывающих о жизни и деятельности своего великого земляка, ибо Карский родился в селе Лаша.



Каждый день новая экскурсия, новые посетители. Вместо убежденных сединами почтенных экскурсоводов — экскурсоводы-школьники. Все учащиеся Лашанской школы знают жизненный путь Е. Ф. Карского, гордятся тем, что имя ученого связано с их родным селом.

Расскажем и мы о Евфимии Федоровиче Карском, основателе белорусского языкознания и белорусской филологии (так его называли академики А. А. Шахматов, А. И. Соболевский, В. Н. Перетц и Н. А. Котляревский), ученом с мировым именем. Ему принадлежат труды не только по белорусскому языку, белорусскому фольклору и литературе, но и по русскому языку, восточнославянской диалектологии, старославянскому, украинскому, польскому языкам, этнографии и палеографии.

По подсчетам библиографов, Карским опубликовано 1014 работ (книг, статей, заметок, отзывов, рецензий).

Евфимий Федорович Карский родился в семье сельского учителя. Безрадостное полугодное детство (на скромное жалованье отца жило десять человек), учение в духовном училище, затем в семинарии. Круг высших светских учебных заведений, в которых мог учиться окончивший семинарию, был весьма ограничен. Одним из таких учебных заведений был Нежинский историко-филологический институт; студенты в нем были на полном казенном содержании. Туда и поступает Карский в 1881 году.

По окончании института он получает в 1885 году назначение преподавателем русского языка и литературы в Виленскую мужскую гимназию. Это назначение соответствовало желаниям Евфимия Федоровича: в архивах, библиотеках города Вильно имелись обширные материалы по белорусскому языку, от Вильно были недалеко белорусские земли.

Итак, казалось бы, вполне определившаяся судьба — судьба преподавателя средней школы, лишенного условий по-настоящему заняться наукой, возможности преподавать в высшей школе. Почти все время поглощают уроки, исправление школьных сочинений и домашних заданий по грамматике и правописанию.

Но у этого скромного преподавателя, высокого, могучего, красивого человека была огромная работоспособность, железная воля, талант ученого, прекрасная цель — изучить язык, народное творчество, литературу родного белорусского народа. Не смущало и не могло его смущать отсутствие какого-либо научного руководства. Кто мог руководить, если Карскому пришлось основывать новую науку, открывать то, что не было еще исследовано?

Обычная для начинающего ученого дорога — остаться при высшем учебном заведении для подготовки к профессоруре — не была избрана Карским. Он предпочел, как видим, более трудную, по ко-

торой, к сожалению, очень немногие достигали вершин науки, почетных званий и степеней. Карскому не нужны были помощь и чье-либо покровительство.

Научные труды позволили Карскому в 1893 году, после восьми лет преподавания в гимназии, стать лектором Варшавского университета. Защитив тогда же диссертацию и получив степень магистра русского языка и словесности, он уже в 1894 году становится экстраординарным профессором того же университета, а в 1897 году, после защиты докторской диссертации, — ordinary профессором.

Авторитет Карского как ученого, организатора, чуткого, отзывчивого человека был так велик, что профессорский состав университета единодушно избрал его в 1905 году, а в 1908 — переизбрал ректором. Карский был первым избранным ректором Варшавского университета (до этого времени ректоры в университетах назначались).

Отметим еще некоторые вехи на жизненном пути Е. Ф. Карского. В первую очередь следует назвать его избрание в 1901 году членом-корреспондентом, в 1916 — академиком Российской Академии наук (впоследствии АН СССР), а в 1929 — действительным членом Чешской Академии наук.

За свои научные труды Е. Ф. Карский был удостоен в 1894 году Русским географическим обществом большой золотой медали, в 1898 году Российская Академия наук награждает его золотой медалью имени Батюшкова, в 1901 году выдающемуся ученому-лингвисту присуждается Малая Ломоносовская премия, а в 1910 и в 1913 году его научные заслуги отмечаются премиями Батюшкова и Ахматова.

С 1905 года Карский редактировал журнал «Русский филологический вестник» (по 1917 год включительно, когда издание прекратилось), сыгравший большую роль, в деле развития русской лингвистической науки, методики преподавания русского языка.

После избрания в академики Карский переезжает в Петроград, и вся его дальнейшая деятельность связана с этим городом. Он был членом правления и президиума АН СССР, директором Музея этнографии и антропологии АН СССР, председателем Словарной комиссии и Комиссии по русскому языку, членом комиссии «Наука и научные работники», редактором «Известий Отделения русского языка и словесности АН СССР» (с 1920 года), «Известий по русскому языку и словесности», «Известий Комиссии по русскому языку», профессором Петроградского университета и членом Научно-исследовательского института при университете.



Центральное место среди трудов Е. Ф. Карского, выдающегося знатока белорусского языка, как писал о нем академик А. А. Шахматов, занимают труды по белорусскому языку. И это вполне естественно. Детские и юношеские годы его прошли среди белорусов, он горячо любил белорусский язык и народное творчество. Примечательны слова Карского в 3-м выпуске II тома его труда «Белорусы», что он, природный белорус, работал с увлечением и любовью к своему родному народу.

Велики заслуги Карского не только как ученого, создавшего первоклассные труды по белорусскому языку, но и как организатора науки. Он не только сам изучал народное творчество, народные говоры, но поощрял к этому и других исследователей, оказывая им всемерную поддержку.

Исключительную роль в изучении белорусского языка сыграла составленная Карским по поручению Отделения русского языка и словесности Академии наук «Программа для собирания особенностей говоров белорусского наречия» (1897; 2-е издание — 1916). Ответы на эту программу, редактировавшиеся лично Карским, содержат ценный материал для суждения о лексических, фонетических и грамматических особенностях белорусского языка как одного из трех языков, объединяемых названием «восточнославянские языки».

Нет возможности даже просто перечислить все работы Карского по белорусоведению — его книги, статьи, посвященные белорусскому языку, языку и палеографии старинных белорусских памятников (рукописных и старопечатных), белорусской этнографии.

Остановимся только на основном труде Карского «Белорусы», вышедшем в трех томах (семь выпусков) в 1903—1922 годах. Знаменитый славист И. В. Ягич назвал «Белорусы» великолепным трудом. Академик Б. М. Ляпунов, рассматривая три выпуска второго тома, посвященные специально языку, указывал, что этот труд «по тщательности обработки является почти беспримерным». «Белорусы» Карского справедливо считаются энциклопедией белорусоведения, при этом построенной на огромном фактическом материале.

В I томе этого тщательного исследования автор подчеркивает: «Следует всегда исходить из фактов, а не подгонять факты к предвзятой теории». В предисловии ко второму выпуску II тома читаем: «Гипотезы, построенные теоретически, опирающиеся на незначительное количество фактов, часто случайных,

со временем могут оказаться не имеющими под собой именно исторической почвы и, следовательно, лишены цены, тогда как факты языка никогда не потеряют значения». Эти высказывания находят и в наше время живой отклик у языковедов, их часто цитируют специалисты по славянским языкам.

I том «Белорусов», вышедший в Варшаве в 1903 году, — «Введение в изучение языка и народной словесности». Основную часть его составляет освещение вопросов этногенеза белорусского народа, этнической территории белорусов. Границы распространения белорусских говоров установлены автором путем личных наблюдений. В этот том входят также главы, посвященные истории науки о белорусском языке и изучения народной поэзии.

Во II томе исследован язык белорусского народа: фонетические явления (1-й вып., Варшава, 1908), словообразование и словоизменение (2-й вып., 1911), синтаксис (3-й вып., 1912). Выводы автора построены на чрезвычайно широком материале: привлечены данные многочисленных старобелорусских памятников, записи народного творчества, живой диалектной речи. Явления белорусского языка показаны в их историческом развитии, в сопоставлении с явлениями русского и украинского языков. II том «Белорусов», как и другие тома, в полной мере сохранил свое научное значение.

Большая заслуга Академии наук БССР — осуществленное при содействии АН СССР переиздание этого тома: выпуск 1-й переиздан в 1955 году, выпуски 2-й и 3-й — в 1956 году (в одной книге).

Отметим попутно, что несколько позже, в 1962 году, Академия наук БССР, также при содействии АН СССР, издала сборник работ Е. Ф. Карского «Труды по белорусскому и другим славянским языкам». В него вошли исследования ученого по белорусскому, русскому, украинскому, западнославянским и южнославянским языкам, в большей своей части ставшие библиографической редкостью.

В III томе «Белорусов» — «Очерки словесности белорусского племени» — три выпуска: 1-й (М., 1916) посвящен народной поэзии, 2-й (Пг., 1921) — старой западнорусской письменности, 3-й (Пг., 1922) — художественной литературе на народном языке.

В сжатом виде, в одной книге «Очерки словесности» были изданы за рубежом: *Geschichte der weisrussischen Volksdichtung und Literatur. Von E. Karskij. Berlin und Leipzig, 1926.*

Неутомимый исследователь предполагал написать еще четвертый том «Белорусов» — «Словарь белорусского языка» (вып.

1-й — современного, вып. 2-й — старого западнорусского языка). Смерть помешала осуществить этот план, помешала и выполнению другого ценного научного предприятия — составлению сравнительного словаря всех славянских языков, картотеку которого Карский частично подготовил.

Е. Ф. Карский щедро делился своими знаниями, опытом со всеми, кто избрал своей специальностью белорусскую филологию. Его ученики-белорусоведы продолжают дело учителя, опираясь на созданные им труды.

Большое и почетное место в наследии Карского занимают исследования по русскому языку и палеографии.

Особое внимание в трудах ученого уделялось вопросам истории русского языка. Даже в тех случаях, когда Карский посвящая свои статьи той или иной теме современного русского литературного языка (суффиксы в русских словах типа *теленек, Васенька, рученька, беленький*; русские наречия *домой, долой* и др.), он говорил о происхождении рассматриваемой формы.

Интересны высказывания Карского, в которых он выступает против засорения русской речи иностранными словами. Установив, как историк, причины проникновения в русский язык иностранных слов, ученый отмечает, что иностранные слова следует употреблять только тогда, когда в них есть крайняя необходимость, а «при других условиях иностранные слова не только не украшают русской речи, не только не свидетельствуют об образованности употребляющих их лиц, напротив того, они портят нашу речь, налагая на нее незаслуженный упрек в бедности, а лиц, без разбора употребляющих их, клеймят позором незнания богатств родной речи» (О так называемых варваризмах в русском языке). Это было сказано в 1886 году!

Отметим три публичных речи Карского: «О влиянии поэтической деятельности А. С. Пушкина на развитие русского литературного языка» (1899); «Значение Н. В. Гоголя в истории русского литературного языка» (1909); «Значение М. В. Ломоносова в развитии русского литературного языка» (1911). В них определена роль Пушкина, Гоголя, Ломоносова в истории русского литературного языка, проанализированы язык Пушкина и язык Гоголя в их развитии. Эти речи представляют большой интерес и в наше время, когда уделяется такое внимание языку художественной литературы, языку писателя. (Читатель найдет их, как и некоторые другие работы Карского по русскому языку, в названном выше сборнике статей.)

Из работ, посвященных выдающимся памятникам русского языка, в первую очередь надо отметить подготовленные Карским

издания летописи по Лаврентьевскому списку 1377 года (1926—1928) и «Русской Правды» по древнейшему списку (1930). Эти издания по праву считаются образцовыми.

В процессе редактирования Лаврентьевской летописи Карский одновременно изучал синтаксис этого замечательного древнерусского памятника. В результате был опубликован труд «Наблюдения в области синтаксиса Лаврентьевского списка летописи» (1929), который и в наше время является не только ценным для специалистов научным исследованием, но и учебным пособием для студентов-филологов. Труд Карского, появившийся тогда, когда синтаксис древнерусских памятников не был еще в центре внимания лингвистов, оказал благотворное влияние на изучение исторического синтаксиса русского языка.

Карский превосходно знал не только белорусские, но и русские и украинские диалекты. Это позволило ему опубликовать работу, которая долгое время была основным пособием по диалектам восточнославянских языков, — «Русская диалектология» (1924). В книге использован не только материал, содержащийся в статьях по отдельным говорам, но и данные, приведенные в многочисленных ответах на специальные программы Академии наук и Московской диалектологической комиссии.

Говоря о трудах Карского в области русского языка, считаем интересным отметить ту позицию, которую занимал маститый ученый в вопросе о новой орфографии. Он считал одной из больших заслуг Академии наук ее работу по упрощению русского правописания и подчеркивал главнейшее в реформе 1917 года: она много содействовала распространению просвещения в народных массах.

Изучение языка старинных памятников письменности тесно связано с изучением самой рукописи — выяснением ее подлинности, материала, на котором она написана, типа письма. Всем этим занимается палеография. Карский был крупнейшим палеографом своего времени. Его палеографические труды в полной мере сохранили свою ценность. Это в первую очередь капитальный труд «Славянская кирилловская палеография» (1928), которому предшествовал с 1896 года ряд обобщающих работ по палеографии, изданных в качестве лекций и пособий для студентов, а также исследования, посвященные отдельным памятникам письменности — старобелорусской, старорусской, староукраинской.

И еще одна сторона научной деятельности Карского заслуживает самого пристального внимания: ему принадлежит большое число статей, посвященных ученым-языковедам — как крупнейшим, так и скромным труженикам, не занявшим почетного

места в науке. Статьи написаны с исключительной теплотой, автор дает всегда сжатую и в то же время точную характеристику научной деятельности ученого. Эти статьи послужили в значительной мере основой для работы «Очерк научной разработки русского языка в пределах СССР» (1928).

Е. Ф. Карский писал и для школы, причем научные факты излагал интересно и в удобопонятной форме. Не удивительно поэтому, что его «Грамматика древнего церковнославянского языка сравнительно с русским» — учебник для 4-го (!) класса средних учебных заведений, выдержала девятнадцать изданий (1888—1917), хотя были и учебники других авторов на ту же тему.

Мы кратко осветили далеко не все стороны многосторонней научной деятельности выдающегося ученого. Те, кто знал Е. Ф. Карского лично, не могли не оценить и его душевную чистоту, удивительную скромность, простоту. Академику Б. М. Ляпунову принадлежат слова: «Как человек, Е. Ф. Карский отличался стойкостью, сдержанностью и вместе с тем мягкостью инисходительностью к людям и их работам».

Высокая и справедливая оценка!

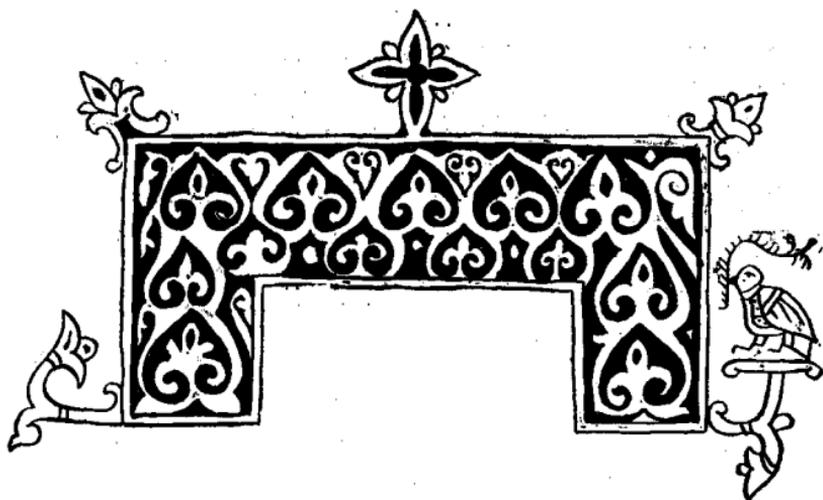
Член-корреспондент АН СССР
В. И. БОРКОВСКИЙ



Помещаем, со значительными сокращениями, главу из книги Е. Ф. Карского «Славянская кирилловская палеография» (Л., 1928). В главе идет речь о принадлежностях письма, которыми пользовался древнерусский писец, когда писчим материалом служили пергамен или бумага.

О письме на бересте, также распространенном в ту эпоху, мы уже рассказывали на страницах нашего журнала (1968, № 3).

Заставка, помещенная Е. Ф. Карским перед этой главой, начальная буква и буква П (стр. 51) взяты из памятника XII века.



Академик
Е. Ф. КАРСКИЙ

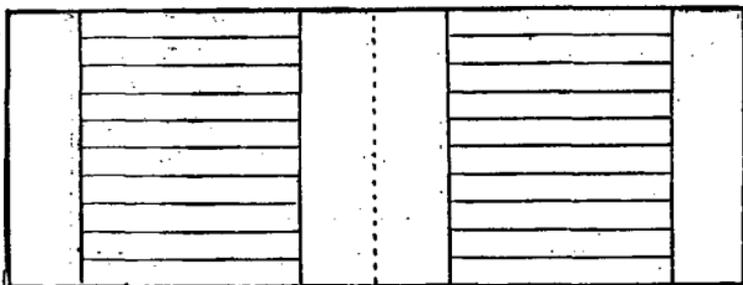
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПИСЬМА



огда листы пергамена или бумаги для предполагаемой рукописи были раздобыты и сложены в тетради, тогда писец, приступал к линованию писчего материала. Прежде всего при помощи линейки на тетради проводились по краям черты сверху вниз с обеих сторон. Затем, должно быть, циркулем или другим каким-либо инструментом, который палеографы обыкновенно называют *punctum* (может быть, тот же циркуль), на равном расстоянии друг от друга обозначались точки, от которых и проводились поперечные линии. Для проведения линий на пергамене употреблялось какое-то металлическое (или из кости) тупое орудие, может быть, нож, или гвоздь, или грифель... Линии сильно выдавливались, так что сразу были заметны на всей тетради в 8 листов, и, конечно, не только на лицевой стороне, но и на обороте. На пергамене, мягком и нежном, линии иногда принимали вид надрезов. Указанным способом разлиновки объясняется, почему число строк, называвшихся иногда также рядами, рядками, повсюду

обыкновенно бывает одно и то же, да и расположены они в одном и том же порядке.

На бумаге линейки проводились уже другим орудием, вероятно, оловянным или свинцовым карандашом (упоминается впервые в конце XVI века), не производившим глубокого вдавливания на бумаге, но зато оставившим некоторое окрашивание линеек. У нас, кажется, нет рукописей с письмом по линейкам, проведенным краской, что нередко можно наблюдать на Западе. Вот образец разлиновки раскрытого рукописного листа:



В книгах большого формата каждая страница еще делилась на два столбца с небольшим промежутком между ними. Так, например, писано Остромирово евангелие, Святославов Сборник 1073 года и другие книги в большой лист. Но иногда в два столбца разлиновывались и малые книги, но писанные мелким почерком; так писаны, например, Евангелие и Апостол, приписываемые митрополиту Алексею, конца XIV века. Грамоты никогда в два столбца не писались, хотя иногда и бывали они очень широкие.

Когда тетрадь была разлинована, приступали к письму. У греков в более древнюю пору, в так называемом унциальном письме, буквы писали по линейкам, то есть ставили их на линейках. В более позднюю пору, в минускульном письме, обыкновенно буквы ставятся под линейками: они как бы свешиваются с линеек (ср. у Саввы — № 254, рукопись 880 года). У нас обыкновенно господствует обычай письма по линейкам; лишь некоторые писцы допускали неаккуратность и писали неровно. Такова, например, грамота Кейстута первой половины XIV века. Югославянские писцы, в подражание греческой скорописи, иногда писали и под линейками, отчего у них сказывается неровность письма ...

Как орудие собственно письма у греков и римлян в более древнюю пору употреблялась трость... у нас в ста-

ринных произведениях встречается то же название... Но вряд ли у нас употреблялась трость; лишь в Остромировом евангелии на рисунках евангелистов видна трость; но эти рисунки могли быть заимствованы из греческих оригиналов; в других же евангелиях в руках евангелистов всегда гусиное перо; перо, между прочим, можно видеть и на рисунках евангелистов в Холмском евангелии XIII века... Здесь на втором рисунке евангелист ножиком очиняет перо. В руках других евангелистов тоже перья. Гусиным пером у нас писали все время до второй половины XIX столетия, когда гусиные перья были вытеснены металлическими и др. подобными. Некоторые старинные писцы иногда употребляли и другие перья: так, в Псковском апостоле 1307 года на обороте 37 листа есть приписка писца: псаль смь павьимъ перомъ. Употребление птичьих перьев для письма также было известно и греко-римской старине ...

Для того чтобы трость или перо сделать годными для письма, их нужно было очинить, для чего употреблялся уже у греков особый нож (перочинный)... Ножиком (gasoium) выскабливали и ошибки в письме. Впрочем, для этой цели иногда употребляли губку, которою смывали с пергамента написанное; легко уничтожить написанное можно было и пемзой; подскребки (разуры) затем выглаживали и на них снова писали.

У восточных народов, например китайцев, для письма употреблялась еще кисть; но ни в Византии, ни у нас кистью не писали; к ней обращались только при раскрашивании миниатюр, заглавных букв или при письме золотом.

Наконец, одною из принадлежностей письма была чернильница. Они бывали металлические, деревянные и из других материалов; часто в роли чернильницы являлся простой рог. Чернильницы имели разную форму: кувшинов, чаш; иногда бывали разделены на две части, особенно деревянные — для черных чернил и киновари, хотя бывали и отдельные киноварницы. На старых миниатюрах на столах евангелистов можно видеть чернильницы самой различной формы.

Для письма по пергамену и бумаге обыкновенно употреблялись чернила... обыкновенно в единственном числе — чернило. Какого состава были наши древнейшие чернила, достоверно неизвестно, так как химического их исследования не производили. Во всяком случае это были замеча-

тельно хорошие чернила, большею частью сильного раствора, глубоко проникавшие в пергамен, густые, засыхавшие на поверхности листа толстым слоем; они не размазываются, даже если смочить письмо. Предполагают, что это были металлические чернила, по всей вероятности, железистые. Эти чернила были очень прочные; хотя они и получили коричневый оттенок (иногда даже бледно-желтый), но до нашего времени вполне ясно сохранили письма в течение многих столетий. Может быть, иногда употреблялись и чернила из сажи... Рукописи сохранили несколько рецептов таких чернил...

Заглавия статей, начальные буквы, записи, иногда толкования мест, заставки и т. п. писались обыкновенно как в пергаменных, так и в бумажных рукописях красною краскою — киноварью.

Вероятно, под именем киновари разумелась разная красная краска, в том числе и та, которая и теперь слывет под названием киновари и готовится из ртути и серы. Она огненного цвета с красноватым оттенком: с нею по крайней мере сравнивает пламя известный путешественник XII века — Даниил Паломник: «свѣтъ же святой нѣсть яко огонь земный, но чудно инако свѣтитя изрядно, пламя его червлено, яко киноварь». В самых древних рукописях киноварь, по-видимому, не употреблялась, а заменялась другими красками однородного с нею цвета: суриком (minium, свинцового состава), малиновыми чернилами... Киноварь, вероятно, была привозная: из Греции или с Запада. Книг, писанных сплошь киноварью, или грамот подобного рода неизвестно. Есть лишь одно исключение: Иоанн Грозный в 1555 году послал письмо к Гурию, архиепископу Казанскому, все написанное киноварью, может быть, из подражания греческим императорам, имевшим исключительное право подписывать свои грамоты пурпуровыми или багряными чернилами... Можно указать некоторые позднейшие рукописи... в которых киноварью пишутся толкования; а так как этих последних больше, нежели самого текста, то большая часть рукописи написана киноварью.

Ввиду преобладания красного цвета в заголовках и в начальных буквах, установились и до сих пор держатся термины: «красная строка», «рубрика» (от латинского *ruber* 'красный'), «абзац» — указывающий на некоторый пробел в начале...

Вместо киновари иногда употребляли и другие краски, хотя и редко...

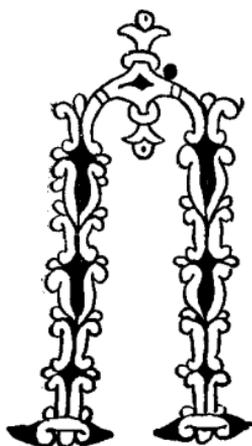
Наконец, есть случаи употребления для письма золота и серебра.

Писанье золотом... было очень распространено как в Византии, так и у нас в миниатюрах; золотом чаще покрывался фон картинок. Что же касается употребления золота для написания букв, то в Византии этот обычай также был очень распространен...

У нас для письма золото употреблялось довольно редко: им написаны некоторые большие буквы, а также заглавия в Остромировом и Мстиславовом евангелиях, и только в более позднее время (в XV—XVII веках) золото начинает встречаться в заглавиях довольно часто...

Что касается употребления золота в грамотах, то заметим, что наши киевские князья иногда подражали византийским императорам в этом отношении; по крайней мере мы имеем грамоту великого князя Мстислава Юрьеву монастырю 1130 года, которая вся «писана золотым раствором, в котором золото (чистое, как оказалось при химическом анализе, сделанном по просьбе И. Срезневского в Академии наук) соединено с растительным клеем» (Славяно-русская палеография).

Серебро для письма и у греков и у нас употреблялось очень редко. У нас указывают Служебник Варлаама Хутынского, написанный при князе Владимире Васильковиче, вероятно, на Волыни, в котором заглавные строки и большие буквы написаны серебром (ср. лл. 1—10), причем от времени серебро несколько пожелтело; может быть, на это повлияла та жидкость, которою был разбавлен серебряный порошок.





В обсуждении речи в современном театре, открытом на страницах «Русской речи» (№ 1—4, 1967), приняли участие многие крупные театральные деятели. Большинство из них убеждены в том, что в наши дни речь актера должна быть максимально приближена к обычной разговорной речи. В то же время наиболее распространенными и наиболее опасными для сценической речи недостатками лучших современных актеров считают произносительную небрежность, «мямлистость», «подсебятину», «бормотание», невнятность. В самом деле, немислимо, чтобы актер в спектакле, рассказывающем о нашем современнике, позволил себе, как это было прежде, «...стоять у рампы, выставив вперед грудь... говорить на диафрагме, с особым упором на звук» (Кугель. Театральные портреты. Л., 1967, стр. 107). Но все-таки как же следует понимать естественность слова на сцене?

Процесс демократизации сценической речи в русском драматическом театре начался еще в прошлом веке. Стремление к преобразованию сценического слова было обусловлено становлением реалистического искусства на русской сцене. Огромная роль в борьбе за простоту и естест-

И ЕСТЕСТВЕННОЕ В ТЕАТРЕ



венность сценического слова принадлежит в истории русского театра Гоголю, Щепкину, Островскому. В советском театре борьбу за естественность речи драматического актера возглавил К. С. Станиславский. Он решительно выступал против вычурности актерской дикции, против актерского любования звучанием «поставленного голоса».

Процесс демократизации сценической речи был осложнен тем, что в театре возникла тенденция прямого перенесения в условия сцены бытовой речи. Поэтому в театре уже длительное время идет борьба с актерским дилетантизмом в вопросах произношения. А. Н. Островский подчеркивал, что естественность речи на сцене только тогда имеет художественную ценность, когда она остается правильной и выразительной. Коклен-старший говорил: «Не толкуйте со мною о естественности тех, которые не хотят произносить членораздельно, болтают перед публикой, точно за столом, останавливаются, повторяют слова, жуют их, словно конец сигары, бормочут и превращают слова автора в какую-то кашу... А неразборчивая публика восклицает: „Боже, как это естественно! Можно подумать, что он у себя дома. Какой актер!.. Я не расслышал, а вы?»

Но как это естественно сказано!«» («Искусство актера». М., 1923, стр. 18 — 19).

О недопустимости переноса бытовой речи на сцену писал и К. С. Станиславский: «Огромное большинство людей плохо, вульгарно пользуются речью в самой жизни; но не замечают этого, так как привыкли к себе и к своим недостаткам»... «Уродство нашей разговорной речи с грехом пополам терпимо в домашнем обиходе. Но когда с вульгарным говорком произносятся на сцене звучные стихи о возвышенном, о свободе, об идеалах, о чистой любви, то вульгарность декламации оскорбляет или смешит» (Работа актера над собой. М., 1951).

Бытующая на сцене речевая невнятность, «мямлистость», «подсебятина» — вот последствия перенесения актерами в театральные условия каждодневной, «естественной» речи. Причем кое-где такую «естественную» речь расценивают как положительное явление для реалистического театра наших дней. Однако условия, в которых осуществляется словесное действие в жизни и на сцене, резко различны.

В бытовой речи часто можно наблюдать искажение говорящим звуковой природы слова. Этот вопрос был уже затронут нами («Русская речь», 1969, №1). Выпадение согласных и гласных звуков (отдельных и нескольких одновременно), видоизменение звучания гласных характерно и для бытовой речи актеров, особенно молодых.

Но, как правило, в разговоре собеседники находятся близко друг от друга. Со сцены слово должно долетать до последнего ряда партера и до галерки. Преодолевая значительное расстояние, звуковые волны, естественно, ослабевают. Далеко сидящему зрителю трудно бывает понять даже нормально произнесенное слово. Если же в конец зала полетит «закодированное» актером слово или несколько изувеченных слов, то зритель окажется в очень трудном положении.

В обычной речи наружные артикуляционные движения, мимика лица помогают нам воспринимать произносимое. У зрителя галерки восприятие мелких мимико-артикуляционных движений говорящего значительно затруднено. В сценических условиях нередко нарушено соотношение интенсивности входящих в слово гласных и согласных. Желая быть услышанным, актер увеличивает громкость гласных звуков, в то время как согласные остаются «естественными», обычными. Подобно тому, как сильный элек-

трический свет делает незаметным пламя стоящей рядом свечи, соседство сильных звуков затушевывает стоящие рядом слабые. Без согласных звуков узнать произнесенное слово почти невозможно, а «сокращенное» — тем более.

В обычной речи звонкие согласные часто превращаются в парные полуглухие и глухие. В бытовом разговоре их ослабленная звонкость все же воспринимается нами (с небольшого расстояния). Но если этот недостаток остается в сценической речи, многие из «сокращенных» слов, еще более видоизменяясь, становятся для нас бессмысленными звуко сочетаниями. Необходимо особо подчеркнуть, что в условиях сцены смысловая нагрузка слова резко возрастает по сравнению с обычными жизненными условиями. В театре за три-четыре часа спектакля нередко проходит целая человеческая жизнь. Не понятые зрителем два-три слова могут относиться к важному моменту в жизни героев. Помощь жизненного опыта, воображения оказываются здесь бессильны и не могут воссоздать то, что «изъял» из пьесы актер.

В статье кандидата филологических наук А. А. Брудного, помещенной в книге «Теория речевой деятельности» (М., 1968), затрагивается вопрос о значимости слова в драматургии: «...от реального речевого общения она [драматургия.— Г. К.] очень далека;... драматургия любопытна в данном случае тем, что эффективность употребления знака там может быть задана, может быть очень велика. Достаточно сослаться на одну из пьес Леонова („Метель“), где один из двух центральных персонажей произносит монолог в 1320 слов, а другой на протяжении всей пьесы — только одно слово, причем эта реплика имеет кардинальное значение в ходе развертывания сюжета» (стр. 159).

Станиславский подчеркивал, что перенесенные из бытовой речи на сцену речевые нарушения становятся броскими, сцена как бы укрупняет, подчеркивает их. Если каждый актер, оберегая «естественность» своей речи, понесет на сцену свойственные ему нарушения, то возникнет неприемлемый речевой разнобой. Наиболее подвержено искажению произнесение согласных *с, з, ш, ж, ч, ц* (*ш* долгого, мягкого) и смягченных *т* и *д*.

На проходившем в Ленинграде в июне 1969 года Всесоюзном смотре театральных вузов, посвященном столетию со дня рождения В. И. Ленина, были представлены учебные спектакли многими творческими вузами нашей страны. Мы еще раз имели возможность убедиться, как

стремится завоевать себе место на сцене косноязычие. Огромная работа, проведенная педагогами-речевиками по нормализации произношения студентов, несомненно, ощущается. Однако наряду с усвоенным чистым произнесением «больных» звуков то в одном, то в другом месте спектаклей вдруг проскакивали слова и их сочетания, в которых исправляемые согласные оставались искаженными. В зал летели реплики: «Я не главврач, а врач — толкац»; «Товарись лейтенант»; «Шопротивление невозможно»; «Вдовсу за овсу» и т. п. У сцены свои законы, во многом они определяются эстетическими требованиями современного зрителя. Грубое перенесение в условия сцены бытовой речи снижает уровень театральной речевой культуры, задерживает сценическое слово на более низкой ступени развития.

Академик Л. В. Щерба считал, что в повседневной жизни человек пользуется не только обычной разговорной речью. Нередко говорящему, добиваясь того, чтобы речь его легко воспринималась собеседником, приходится использовать другой стиль: он делает речь четкой, ясной, хорошо слышимой. Этот стиль Щерба называл полным. Безударные гласные, которые в обычной речи произносятся кратко, сильно редуцируются, в полном стиле более продолжительны, редукция их выражена менее ярко. Слово в полном стиле становится объемнее, звучнее, а следовательно, и слышнее.

Учитывая, что сценическое слово должно, с одной стороны, быть хорошо слышимым на далеком расстоянии, а с другой — сохранять черты обычной разговорной речи, И. С. Ильинская и В. Н. Сидоров в статье «О сценическом произношении в московских театрах» («Вопросы культуры речи». I. М., 1955) высказывают очень ценное, на наш взгляд, мнение о современной театральной речи. Им представляется, что слышимости современный актер должен добиваться за счет использования в сценических условиях полного стиля устной речи, а впечатление естественности создавать, используя интонации, характерные для обычного разговорного стиля.

По творческим портретам, имеющимся в грамзаписях, мы изучали речевое искусство крупнейших драматических актеров. С нашей точки зрения, мнение И. С. Ильинской и В. Н. Сидорова подтверждается творческой практикой больших мастеров сцены. Умение сочетать полноту звучания слова с естественностью, живостью интонации на-

глядно проявляется в их речи. Однако стремление донести слово до самых дальних уголков зрительного зала выражается не только в своеобразном укрупнении безударных гласных, точно и ясно мастера произносят согласные звуки.

«Простота» речи в жизни и на сцене различны по своей природе. «Размытая», невнятная речь, как и чрезмерно четкая, нарочитая дикция, выговаривание, свидетельствуют о недостаточной подготовленности речевого аппарата актера для выполнения профессиональных задач, выдвигаемых современным театром. Сценическая простота слова есть результат громадного труда, который приводит к вершинам технического совершенства. Только в результате систематического тренажа актер по-настоящему сможет овладеть дикцией в сочетании с естественностью интонаций, необходимыми для сценической речи — речи «искусственной», или, говоря иначе, более полной по сравнению с обычным разговорным стилем.

Г. В. КОМЯКОВА,

*преподаватель сценической речи
Ленинградского государственного
института театра, музыки и кинематографии*

**ПОЧТА
«РУССКОЙ РЕЧИ»**

Вниманию издателей

МНОГО у нас книг о замечательных людях, память о которых должна сохраниться на века.

Но вот почему-то нет книги, посвященной просветителям славян, научившим нас письменности, — братьям Кириллу и Мефодию.

Книга о них у нас должна быть! Причем книга, написанная популярно и изданная тиражом массовым!

Материалы для нее, наверняка, имеются в Институте славяноведения и балканистики АН СССР, может много дать Болгария, страна, которая высоко чтит их.

Страницы этой книги должны обязательно войти в школьные учебники.

*К. И. Пальшкова
Москва*

ВЕСЕЛОЕ СЛОВО «КАПУСТНИК»

Хотя капустник «живет» сейчас среди молодежи, студенчества, возраст у него уже достаточно солидный. Вот его история. *Капустник* рождается дважды: сначала это было крестьянское слово, потом актерское, теперь оно стало общелитературным.

В народе существовал добрый обычай — капустник или капустница — время рубки капусты, когда приглашаются соседи и знакомые (чаще девицы), которые рубят капусту, поют песни и угощаются.]«Капустницею называется, как всякому известно, — добавляет один из знатоков русского языка, — время рубки капусты, бывающее обыкновенно не позже 1 октября». Академический Словарь (1908) свидетельствует: «Каждому известно — где капустник, тут и праздник, тут и пир горой». [Популярен в русской кухне и пирог из пшеничного или ржаного кислого теста с начинкой из капусты свежей или «кислой» — квашеной. Называется этот пирог — капустник] (по данным картотеки ленинградского отделения Института русского языка Академии наук СССР).

Капустник — это и традиционный ужин, который «по окончании театрального сезона повсеместно давался директором труппы» (Н. И. Соболевский-Самарин. Записки. Горький, 1940). Как возник в актерской среде этот традиционный ужин и почему он назывался капустник?

Капустники устраивали в первый понедельник великого поста (семь недель перед религиозным праздником пасхой). «Время это было наиболее подходящее для „веселых вечеров“ и диктовалось соображениями профессионально-бытового характера: в великий пост, по законам Российской империи, театральная жизнь должна была замирать, и семь недель актеры вынужденно бездействовали» (М. И. Велизарий. Путь провинциальной актрисы. Л.— М., 1938).] Были знаменитые капустники, например, в Петербурге —

*Платный капустник. МХАТ,
1912 (среди присутствующих —
К. С. Станиславский
и В. И. Немирович-Данченко)*

варламовские: «Варламов собирал „актерскую братию“, чтобы повеселиться, забыть о всяческих горестях и не думать о печальных перспективах... Все самое талантливое и знаменитое из мира искусств, бывало обязательно на капустниках у Варламова (там же). Название свое капустник получил от традиционных великопостных блюд — капусты квашеной и пирогов с капустной начинкой.»



В Москве капустники организовывало Общество искусства и литературы, а также Московский Художественный театр (с 1902 года). Капустники МХТ завоевали огромную популярность, и в 1910 году 9 февраля состоялся первый платный капустник (в пользу особо нуждающихся артистов театра). [Это были вечера веселой пародии и шутки. «Ночь перед капустником преобразовывала до неузнаваемости весь театр. Все кресла партера выносились, и на их место ставились столы, за которыми публика ужинала» (К. Станиславский. Моя жизнь в искусстве)]. Капустник стал формой «профессиональных» вечеров. Так журнал «Сине-фоно» (1913, № 12) отметил первое собрание-капустник синематографических деятелей в ресторане «Прага»:

Прекрасный ужин — кино-ужин...
А эти речи — кино-речи...
Тут делегаты всех течений...
Объединила всех капуста,
И так да будет веселей!

Возник даже глагол *капустничать* 'справлять капустник' (академический «Словарь русского языка», 1908; картотека ленинградского отделения Института русского языка АН СССР).

Капустники популярны и в наше время. Праздники, юбилей, студенческие каникулы отмечаются капустниками. Это один из видов художественной самодеятельности. Капустники носят обычно дружески-сатирический характер, злободневны, как правило, основаны на событиях института, школы, театра — своего предприятия или учебного заведения: «Следующие эпизоды капустника изображали работу редколлегии, совещание клубного совета, распределение путевок и другие сюжеты из жизни института и общежития» (Трифонов. Студенты); «...тот факт, что к любому экзамену они (студенты) начинают готовиться за 2—3 дня, известен не только из многочисленных капустников» («Советская культура», 25 мая 1968).

Каким должен быть капустник по своему характеру как-то писала «Советская культура»: «...капустник, где, как говорится, сам бог велел подурчиться... А главное, в капустнике и пяти минут „не прожить“ без остроумия, изящества, легкости, непринужденности...» (9 апреля 1968)

Капустник — это самодеятельный спектакль, веселый, острый, на злобу дня, это и праздничный ужин, вечеринка (Словарь современного русского литературного языка). Время проведения капустников теперь уже не ограничено каким-либо одним днем, а когда-то традиционная капуста — более не «гвоздь» стола, она даже и не появляется на столе. Но неизменным осталось название — капустник и характер этого развлечения — злободневный, дружеский,

рассчитанный на свою особую аудиторию, вовсе не обязательно артистическую. Если капустник организован артистами и об этом хотят сообщить, то добавляется определение *артистический, актерский*. Так, Сергей Юрский, создатель кинообраза Остапа Бендера, вспоминает: «Десять лет назад, в новогоднюю ночь я впервые играл роль Остапа Бендера... Это был веселый новогодний актерский капустник» («Советская культура», 1 января 1969). Заметим, кстати, что первый новогодний капустник был устроен по желанию А. П. Чехова в Московском Художественном театре при встрече нового, 1903 года.

А ЧТО ТАКОЕ ХЕППЕНИНГ?

— Нечто вроде наших капустников. Так однажды оценил журнал «Огонек» (1967, № 28) это новое театрализованное зрелище, появившееся во многих странах Запада. Справедливо ли это?

В середине 60-х годов на страницах газет замелькало новое слово *хеппенинг*, пришедшее из английского языка, где оно возникло несколько ранее: «В начале 60-х годов в театральном лексиконе США впервые прозвучало слово „хеппенинг“. Суть этого новшества сводилась к тому, что зрителю показывалась серия разорванных, без всякой связи между собой действий. Отсюда и само слово *хеппенинг* — ‘случайность действия’» («Советская культура», 12 июля 1966). А месяцем раньше газета посвятила целую статью этому театральному направлению: «Снова хеппенинг. — Речь идет о пресловутом хеппенинге (от английского слова *to happen* ‘случаться, происходить’) или театре свободного выражения, о котором наша газета впервые поведала читателям два года назад вскоре после первого фестиваля этого „искусства“...» («Советская культура», 7 июня 1966). Полагают, что первые хеппенинги демонстрировались в Японии, затем появились в США, Латинской Америке и Европе, но, возможно, это была одновременная вспышка нескольких очагов нового вида «искусства».

Можно ли хеппенинг назвать искусством? Жан-Поль Сартр, французский философ и писатель, перечисляет все, что может характеризовать хеппенинг. Это модное явление, условно-символическое (например, как намек на самосожжение буддийских монахов — на эстраде сжигают сотни бабочек). Хеппенинги разыгрываются на улицах, в общественных местах. Это так называемые импровизации, призванные заполнить пропасть между автором и зрителями. Но «искусства здесь попросту нет» («Литературная газета», 1 февраля 1967).

В уже упоминавшейся публикации из «Огонька» описывается хепшенинг в одном из студенческих клубов в Осло: «Сегодня здесь будет так называемый хепшенинг, то есть импровизированное театральное действо, в котором могут принимать участие все желающие ... Демонстрируется кинохроника, кто-то карабкается по лестнице, кто-то играет в бадминтон... Довольно бессмысленно и скучно».

Хепшенинг — не только «театральное» явление, есть поклонники этого направления и в области живописи: «Парижская художница Марта Минуджен устроила публичное аутодафе в присутствии представителя газеты „Combat“, сжигая на улице старый хлам. Это — „хепшенинг“, произведение искусства как нечто происходящее, своего рода *живые картины*» («Коммунист», 1966, № 12).

Вслед за существительным *хепшенинг* в язык публицистики вошло и его производное — *хепшениер*: «...художник и поэт Жан-Жак Лебель, известный хепшениер (как-то неловко называть словом „режиссер“ организаторов зрелищ, о которых пойдет рассказ ниже)...» («Советская культура», 7 июня 1966).

Оба слова (хепшенинг и хепшениер) подчинились системе русского словоизменения: «...хепшенингов и его толкований существует столько же, сколько самих хепшениеров» («Советская культура», 7 июня 1966); «Во время одного из подобных „хепшенингов“ Джун Пейк бросал в публику горох, покрывал лицо мыльной пеной...» («Коммунист», 1966, № 12); «Изобретатель хепшенинга Аллен Кэроу заставляет зрителей-участников ... соорудить забор ... Пьеса называется „Сверхурочные“» («За рубежом», 1968, № 36).

Хепшенинг — это результат восприятия всего, что есть в мире, как «текучего и случайного». Это и критическое отношение к окружающей капиталистической действительности при одновременном неумении или нежелании бороться с ее пороками. Это и поиски новых форм в искусстве, но обычно лишенные ясной цели.

Употребление *хепшенинг* ограничено специальной и критически-публицистической речью, воспринимается как символ современного западного модернизма и как термин своеобразного политического жаргона. Для многих молодежных группировок Запада *хепшенинг* едва ли не единственная форма протеста против всех социальных бед (см.: «Коммунист», 1969, № 16; «Советская культура», 11 и 13 ноября 1969). «Раскрытая» внутренняя форма нового слова делает «прозрачным» название не известного ранее явления. Ср. *хепшенинг* «случайное действие» в ряду таких слов, как *театр, эстрада, концерт, живые картины, капустник*. Так чужое слово становится именем-характеристикой.

ГОРЕСТНОЕ СЛОВО СТРИПТИЗ

появилось в русском языке сравнительно недавно. Чужое слово называло явление чуждого нам мира. В русском языке оно получило еще и оценочное осмысление и как слово-характеристика определенного действия входит в нашу речь. Вот его история.

Идет фильм «Доживем до понедельника». Эпизод в классе. Урок литературы. Ученики пишут сочинение о счастье. Взгляд учительницы случайно падает на тетрадь одной из учениц. Учительница задерживается, читает и... глаза ее расширились, брови взметнулись: «Это душевный стриптиз!». Для учительницы стриптиз, а для ученицы искренний рассказ о счастье, ее счастье, о котором она еще только мечтает — быть женой и матерью. Непонимание между учительницей и ученицей подчеркнуто словом *стриптиз*. Моя соседка справа тихонько переспрашивает своего спутника: «Душевный стриптиз»? В ответ неясное междометие. Оба не поняли этот удачный словесный образ. А между тем слово *стриптиз* уже известно русскому языку, встречается в определенных контекстах в печати и прежде всего в газетах: «„Гвоздь сезона” — приезд повой „артистки” из Южного Вьетнама для участия в представлении стрип-тиз» («Советская культура», 26 апреля 1962); «...в фильме Блазетти „Европа ночью” было несколько кадров о входившем тогда в моду „стриптиз” — спектакле с раздеванием» («Советская культура», 9 июля 1964).

Как видим, в эти годы (1962—1964) американизм *стриптиз* в русском языке не имел закрепленной орфографии (стрип-тиз — стриптиз), не склонялся (о входившем в моду «стриптиз»). Слово требовало пояснений — ‘представление’, ‘спектакль с раздеванием’.

Американские словари так раскрывают значение этого слова: *strip tease* ‘зрелище — медленное раздевание женщины под музыку’ (буквально ‘сдирать, снимать, раздеваться, обнажаться + дразнить’). Участники этого спектакля называют *strip’teaser* или *stripper*. Иллюстративный материал датирован уже 1941 годом (J. A. Weingarten. *An american dictionary of slang and Colloquial Speech*. New York, 1954).

Это зрелище, жалкое и тягостное, описал советский поэт А. Вознесенский в своем стихотворении «Стриптиз»

В ревю

танцовщица раздевается, дуря...

Реву?

Или режут мне глаза прожектора?

Шарф срывает, шаль срывает, мишуру,
как сдирает с апельсина кожуру.

А в глазах тоска такая, как у птицы.

Этот танец называется стриптиз...

В тревожном и отчаянном ритме танца-пытки описано это новое развлечение капиталистического мира. Явление, вызывающее и протест и жалость.

А теперь вспомним эпизод из фильма «Доживем до понедельника». Если учительница искренний порыв 16-летней девчонки быть предельно правдивой называет душевным стриптизом, то может ли возникнуть понимание между педагогом и ее учениками? Так вырастает стена непонимания. В подобном контексте этот американизм не пустой словесный выверт, а слово-сигнал разных точек зрения на один и тот же поступок.

В русском языке слово *стриптиз* закрепилось в слитном написании. Оно подчиняется системе склонения: «Объединение защиты зверей (ФРГ) предъявило обвинение танцовщице стриптиза Кримгильд Зарине в том, что она мучает зверей» («Советская культура», 13 февраля 1968). Известно русскому языку и производное *стриптизер*: «...бездельники с толстыми кошельками развлекаются в обществе девиц-стриптизеров» («Комсомольская правда», 10 июля 1968). Существует в русском языке и собирательное употребление существительного *стриптиз* в значении 'исполнительницы представления': «А производственные простуды?» — стриптиз бастует. «А факты творческого зажима? — Не обнажимся!» («Литературная газета», 23 марта 1967). Возникло на русской почве и прилагательное *стриптизный*: «По установившейся традиции на Рождество в Южный Вьетнам с музыкально-стриптизной труппой ... прибыл „патриот“ — весельчак Боб Хоуп» («Советская культура», 30 декабря 1967). Ср. также: стриптизный клуб («Неделя», 1963, № 50); стриптизная лирика («Известия», 31 мая 1964).

Слово *стриптиз* (подобно *кино*, *опера*) означает не только 'зрелище-представление', но и 'театр, где происходят эти представления'.

Стриптиз — это название чуждого нам явления. И само явление и вкусы капиталистического общества получили у нас заслуженную, резко отрицательную оценку. Такое отношение к новому «развлечению-представлению», обозначаемому словом *стриптиз*, позволило несколько переосмыслить американизм, придать ему особую окраску: оценочную — ироническую или осуждающе-критическую (душевный стриптиз).

Три слова — капустаник, хеппенинг, стриптиз — означают 'представление, спектакль, зрелище, импровизация, развлечение'. Но как различен их истинный смысл и социальная окраска. История каждого из этих слов отражает историю того общества, в котором оно бытует.

А. А. БРАГИНА

ГРАНИЦЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ

Возрастание роли науки в жизни современного общества привело к тому, что в наши дни специальная терминология проникла почти во все сферы деятельности человека. Число названий ежегодно издаваемой в нашей стране научно-технической и производственной литературы давно уже превышает количество какой-либо другой литературы. Однако тематика проводимых в настоящее время лингвистических исследований (по крайней мере, как это следует из публикуемых в этой области книг и статей) далеко не соответствует этому соотношению. Как в прошлом, так и теперь языковедие почти целиком обращено к общелитературной лексике. Между тем есть много оснований к тому, чтобы привлечь к изучению научно-технической и производственной лексики не только лингвистов, но и инженеров.

Развитие науки и техники связано с возникновением новых процессов, новых понятий и т. д. Для их обозначения нужны и новые термины. В наши дни процесс появления новых терминов протекает особенно быстро. Однако стихийность этого процесса приводит к тому, что новые термины нередко оказываются неудачными: они либо выражают несущественные стороны обозначаемого понятия, либо неудобопроизносимы, либо неверны по существу. При этом недостатки, вызываемые появлением неудачной терминологии, устраняются крайне медленно — ведь даже после замены или исправления неудачные термины остаются в публикациях прежних лет и таким образом долгое время частично продолжают употребляться.

Но, пожалуй, наиболее серьезный недостаток нашей научно-технической терминологии — ее бедность. Особенно остро ощущают это переводчики. Вот один из примеров. Редактор перевода книги «Универсальный язык програм-

мирования PL — I» (перевод с английского. Под редакцией В. М. Курочкина. М., 1968) в предисловии к книге пишет, что наряду с проблемами, возникающими при переводе, «одна из наиболее неприятных — терминологическая. Для многих из встретившихся в языке PL — I понятий русские термины отсутствуют, для других нет твердо установившихся терминов, а в ряде случаев уже принятые термины были сочтены неудовлетворительными». Такое положение при переводе книг далеко не единичное явление. Наоборот: оно постепенно становится печальным правилом.

Другой недостаток в области научно-технической терминологии — ставшая уже очевидной тенденция к употреблению длинных слов и словосочетаний. Известно, что средняя длина русского слова (на материале художественной или общественно-политической литературы) примерно на полторы буквы больше английского. В области научно-технической литературы эта разница еще больше. Там, где английское слово содержит 4—6 букв, русский эквивалент обычно — 7—9. Часты случаи, когда короткое английское слово передается на русском языке даже словосочетанием. Например:

serial computer (14 букв, 2 слова) — цифровая вычислительная машина последовательного действия

(53 буквы, 5 слов)

add (3 буквы) — складывать (10 букв)

software (8 букв) — средства математического обеспечения

(34 буквы, 3 слова)

bit (3 буквы) — двоичная единица информации

(25 букв, 3 слова)

Приведенные примеры не редкость и не исключение. В сравнительно недавно вышедшей в издательстве «Наука» книге «Элементы технической кибернетики. Сборник рекомендуемых терминов» (вып. 77. М., 1968) приведено (по всем трем разделам) 176 терминов. На английском языке это 334 слова, а на русском — 408, то есть число русских слов составляет 122 процента от количества английских. Еще более разительно сравнение по количеству букв: в английских терминах употреблено 2383 буквы, в русских — 3751, то есть на 57 процентов больше!

Конечно, наши книги научно-технического содержания не на 57 процентов больше по объему соответствующих английских. Но если они хотя бы на 5 процентов больше, то, очевидно, что при наших тиражах изданий научно-тех-

нической литературы эти длинные и многословные термины обходятся во много миллионов рублей. Практически до сих пор никаких мер против этого не принимается, и термины, по длине напоминающие железнодорожные составы, продолжают возникать.

Краткие, четкие, по-новому и потому терминологично звучащие слова *лазер* и *мазер* предлагается (к счастью безуспешно) заменить многословными терминами *оптический квантовый генератор* и *оптический квантовый усилитель*. Такую рекомендацию терминологическая комиссия дает на том основании, что термины *лазер* и *мазер* — акронимы (английского языка), к тому же не вполне точно выражающие сущность явлений, протекающих в соответствующих приборах. С нашей точки зрения, этимологические соображения в данном случае не могут играть решающей роли, ибо перевод на другой язык сразу лишает термины связи с методом их создания и в русском языке они воспринимаются просто как новые слова, вне зависимости от их происхождения.

Пример этот, как нам кажется, обнаруживает определенную тенденцию современного русского терминоворчества — стремление во что бы то ни стало избежать появления слов с новыми корнями. В результате, как это и было в приведенном выше примере, возникает иной раз и не термин вовсе, а по сути дела определение нового понятия. Между тем в других языках, например в английской научно-технической терминологии, этого нет. Один из методов образования новых терминов — перестановка начальных букв широко известных терминов. Так, из слова *spectrum* (спектр) образуется *serpstrum* — термин, обозначающий косинусное преобразование Фурье логарифмического спектра.

Вот несколько примеров из журнала «Электроника» (русский перевод американского журнала «Electronics»), 1969, № 11: *filter* → *lifter*, *harmonic* → *rahmonic*, *magnitude* → *gamnitude*. Еще один пример образования слов с новыми корнями: глагол *to hann*, обозначающий операцию сглаживания, встречающуюся в спектральном анализе, образован по фамилии австрийского метеоролога Юлиуса Ханна (*Julius von Hann*). Нам представляется, что не следует создавать громоздкие многословные термины, термины-определения; предпочтение следует отдавать терминам кратким, смело вводя слова с новыми корнями.

Далее. В последние годы возник дополнительный ис-

точник, облегчающий образование громоздких и труднопроизносимых терминов. Это в принципе совершенно правильная тенденция к регулярности способов образования терминов для выражения родственных понятий на основе так называемых моделей терминов. Суть ее в том, что отдельные морфемы термина выражают сведения о составе некоторого предмета или материала, о его назначении, свойствах или области применения. Таким образом, термины, обозначающие вещества или материалы одинакового состава или назначения, будут иметь определенное сходство в написании и звучании.

Метод моделей описан в интересной статье П. В. Веселова («Русская речь», 1969, № 3). Положения, изложенные в статье, по существу не вызывают возражений. Беспокоит лишь одно обстоятельство: автор не упоминает о том, что метод моделей, как и любой другой метод или закон, имеет свои границы применимости, за пределами которых его использование становится неразумным. В области формирования терминов такими границами являются длина термина и его благозвучность. Между тем многие термины, приводимые П. В. Веселовым, например *слоемефодревопласт* или *автотекстовинилискожа*, слишком длинны и труднопроизносимы.

Безусловно, регулярность в образовании названий для родственных понятий весьма желательна, но возникает вопрос: в какой степени она обязательна и не является ли благозвучность терминов более важным показателем? С нашей точки зрения, является и вот почему. Наличие в термине указаний на состав материала, его свойства, назначение, область применения, метод изготовления и т. д. имеет важное значение для каждого, кто употребляет этот термин впервые или во всяком случае до тех пор, пока термин не станет привычным. После этого термин становится (и в последующем остается) лишь знаком, обозначающим данное вещество или предмет. Так, понятие чернил давно уже не ассоциируется у нас с черным цветом, бутерброд не обязательно хлеб с маслом, а салат (кушанье) очень часто не содержит вовсе салата (растения). Определительная функция термина, после привыкания к нему, играет довольно незначительную роль в процессе всего последующего периода пользования термином.

Поэтому, если не удастся согласовать требование «содержательности» термина с его благозвучием и краткостью, следует отдавать безусловное предпочтение требованию

краткости и благозвучия. То неудобство, что иногда (в сравнительно короткий срок ознакомления с новым термином) потребуется заглянуть в справочник или терминологический словарь, не так уж страшно. Мы не должны терять чуткости к звучанию русской, в том числе и научно-технической, речи. Потеря этой чуткости и засорение русского языка куда более опасны.

Причину многих недостатков в области научно-технической терминологии нетрудно установить. Это разобщенность в усилиях лингвистов и работников науки, техники или производства. А жизнь настоятельно требует непрерывной совместной работы специалистов в области языкознания со специалистами научно-технического профиля. Язык научно-технической литературы — это тоже наш русский язык. Борьба с засорением всех слоев русского языка, борьба за чистоту и благозвучность русской речи — наша общая задача.

Н. С. БУДЬКО

Москва

ЭФИРОМАСЛИЧНЫЙ

В специальной технической и растениеводческой литературе существует разноречивость в написании сложных слов, происходящих от слова *эфир* в биохимическом его понимании.

Как известно, сложными словами называются такие, в состав которых входят два или несколько корней. Большинство из них образуется при помощи соединительной гласной *о*. В академическом «Словаре современного русского литературного языка» читаем: «*эфиро-* — первая часть сложных слов, соответствующая по значению слову *эфирный*... такой, в котором содержится эфирное масло». Этому требованию подчиняются сложные слова: эфирнос, эфирноносный, эфиромасличный.

В соответствии с существующими правилами назван организованный в 1933 году Всесоюзный научно-исследовательский институт эфиромасличной промышленности, озаглавлены книги «Масличные и эфиромасличные культуры» (М., 1963), «Экономика возделывания эфиромаслич-

ных культур» (М., 1967) и ряд других. Последовательно выдерживал в своих трудах этот принцип П. А. Нестеренко, известный ученый в области биологии и селекции эфиромасличных растений.

Однако в ряде случаев авторы, а вернее, редакторы издательств, не придерживаясь существующего правила, образуют слова иначе: *эфирноносный, эфирномасличный*. Последнее мы находим в книге «Эфирномасличное сырье и технология эфирных масел», выпущенной к IV Международному конгрессу по эфирным маслам (М., 1968), в «Библиографии по эфирномасличным растениям» (Л., 1968), в «Сельскохозяйственной энциклопедии» (1956, изд. 3-е, т. 5).

Этого противоречия следует избежать в новом, четвертом издании СХЭ, в третьем издании БСЭ, как и во всех печатных книгах и статьях. Несомненно, что авторы статей и книг, редакторы издательств должны покончить с «вольным» словотворчеством, недопустимым в специальной технической и научной литературе.

Кандидат сельскохозяйственных наук
Ю. С. КРАВЧЕНКО
Кишинев

ВЗРЫВНОЙ ИЛИ ПОДРЫВНОЙ?

Взрывное дело имеет многовековую историю, поэтому, естественно, и многие термины его известны как очень старые наименования. Широкое применение взрывчатых веществ в народном хозяйстве, во многих областях промышленности, в геофизической и геологической разведках породило большую специальную литературу.

Исследования процесса взрыва, химии и технологии взрывчатых веществ в настоящее время имеют весьма солидную научную базу. Бурное развитие взрывного дела и превращение его в науку о взрыве вызвало появление новых терминов, изменение представлений о процессе взрыва.

Однако возникновение новых терминов и употребление старых часто происходит стихийно. Это в свою очередь приводит к тому, что одно и то же понятие разными авторами, в разных учебных пособиях называется разными терминами. Можно представить, как это затрудняет обучение студентов, работу специалистов смежных профессий. Затруднения начинаются уже с наименования самой отрасли знаний.

В военно-инженерной литературе принято название «подрывное дело», хотя в этой отрасли изучается процесс взрыва, взрывчатые вещества, их применение.

Два учебных пособия, вышедшие в 1946 году в одном и том же военном издательстве, именуется по-разному: А. И. Морин, Г. Д. Юске, В. Н. Лыков, А. А. Кутеньков. Подрывное дело; и Э. А. Бари. Буро-взрывные работы.

К сожалению, даже в пределах одного источника нет единого употребления терминов. Так, в наставлениях «Подрывные работы» читаем: I глава — «Взрывчатые вещества», II — «Способы и средства взрывания», IV — «Меры предосторожности при подрывных работах», VIII — «Взрывные работы в грунтах и скальных породах». А разделы VIII главы этого же наставления называются так: «Взрывание на выброс», «Взрывание на рыхление», «Подрывание отдельных камней». В то же время в горнотехнической литературе для тех же процессов приняты наименования «взрывное дело», «взрывные работы», «взрывание».

Еще пример. Слово *камуфлет* — старый традиционный термин, известный несколько веков назад, включен еще В. И. Далем в «Толковый словарь живого великорусского языка» с объяснением: «подземная вспышка пороха, малая мина, небольшой взрыв, для сотрясения и засыпки неприятельской подземной работы или для задушения землекопов его дымом и смрадом». С. И. Ожегов в «Словаре русского языка» дает такое толкование слову *камуфлет*: «1. Подземный взрыв мины для разрушения минных работ противника (специальное). 2. Разрыв артиллерийского снаряда под землей без выкидывания земли и осколков (специальное)».

Иными словами *камуфлет* обозначает некое действие (взрыв, разрыв). Теперь обратимся к значениям этого слова, которое встречается в специальной литературе. В упоминавшемся уже учебнике «Подрывное дело» на стр. 113 сказано, что камуфлет — это разновидность горна, то есть

заряда. А в книге Н. А. Евстропова «Взрывные работы в строительстве» (М., 1965) слово *камуфлет* можно встретить и в значении заряда, и в значении взрыва (стр. 110 и 127).

Что же такое *камуфлет* — заряд или взрыв, — понять трудно, а нужно. Думается, что подобную путаницу можно изжить, введя в употребление русский термин «подземный взрыв» и дав ему строго научное толкование. Именно такого термина сейчас и недостает в литературе, посвященной вопросам взрыва. Кстати, и с самим термином *взрыв* дело обстоит не лучше, несмотря на то, что есть определение этого понятия, введенное Комитетом научно-технической терминологии АН СССР. К разным определениям понятия *взрыв*, существующим в разных пособиях, примешивается еще и нетерминологическое употребление слова в специальной литературе: «взрыв парового котла», «взрыв баллонов со сжатым газом». В этих «взрывах» не происходит ни физического, ни химического превращения веществ (которое должно происходить согласно определению понятия *взрыв*), происходит же быстрое разрушение металла (стенок котла, баллона) вследствие того, что напряжение в металле превысило допустимый предел.

Можно было бы увеличить ряд примеров неблагоприятных с терминами взрывного дела. Но, думается, что и приведенных вполне достаточно, чтобы убедиться, как необходимо упорядочить эту терминологию.

Кандидат технических наук
И. И. ДАНИЛЕНКО
Киев

ПОЧТА **«РУССКОЙ РЕЧИ»**

Проезд багажа
— 10 коп.

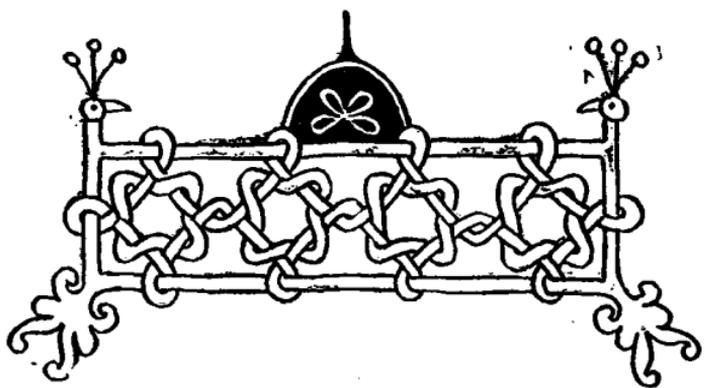
ПРИШЛОСЬ мне прошлым летом побывать в некоторых городах Средней Азии. Впечатлений осталось очень много. Скажу, правда, не о самых главных.

В Бухаре возле гостиницы расположено здание, в котором помещаются парикмахерская, обувная мастерская, химчистка, а на фрон-

тоне здания огромными буквами написано: «Пользуйтесь услугами быта!».

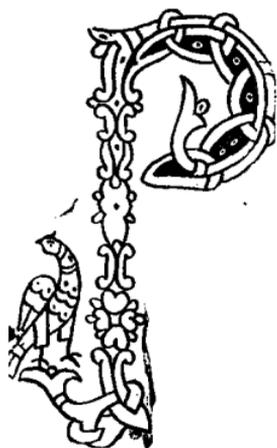
На кассах автобусов в Самарканде по трафарету сделана надпись: «Проезд одного пассажира 5 копеек, одного багажа — 10 копеек».

Б. И. Ешурич
Львов



Старая письменность

СКОЛЬКО КНИГ БЫЛО В ДРЕВНЕЙ РУСИ?



ешение любого научного вопроса зависит от времени. Даже для его постановки, а не только для ответа на него должны возникнуть определенные предпосылки, как обычно говорят, «вопрос должен назреть». Однако можно сказать, что вопрос назрел, лишь тогда, когда возникают какие-то предпосылки и для самого ответа на него. Еще лет двадцать назад можно было лишь ориентировочно судить о том, сколько рукописных книг дошло от древности до нашего времени. Крупный советский языковед и историк русского языка

Н. Н. Дурново в 1927 году писал о том, что у нас существует и может быть обнаружено не более 1000 рукописей XI—XIV веков (Введение в историю русского языка). При этом он опирался главным образом на подсчеты конца прошлого века, когда Н. В. Волков опубликовал свои «Статистические сведения о сохранившихся древнерусских книгах XI—XIV веков и их указатель» (СПб., 1897), в которых сообщил о 691 рукописи.

В последние годы был осуществлен в огромных масштабах, возможных только для нашей страны, новый под-

счет сохранившегося в наших книгохранилищах рукописного наследия — только книг и их фрагментов. Его организовала Археографическая комиссия АН СССР, руководимая в то время академиком М. Н. Тихомировым. По предложению Комиссии библиотекари-археографы, архивисты и музейные работники ответили на ряд вопросов об имеющихся в их фондах древних рукописях.

Археографическая комиссия обращалась во все библиотеки, архивы и музеи, но оказалось, что древние рукописи (в начале этой работы сведения собирались о рукописях до XV века) имеются только в 38 учреждениях. Всего были выявлены 1493 рукописные книги XI—XIV веков, сохранившиеся полностью или частично, из них русских 960. Подавляющее большинство рукописей хранится в Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде (424 рукописи), Историческом музее в Москве (306 рукописей), Библиотеке имени В. И. Ленина в Москве (262), Центральном архиве древних актов в Москве (165) и Библиотеке АН СССР в Ленинграде (152).

Известно, что есть древние рукописи и у частных лиц. Например, во время составления «Предварительного списка славяно-русских рукописей XI—XIV вв., хранящихся в СССР» (см.: «Археографический ежегодник за 1965 год». М., 1966) о Евангелии XIV века, написанном на пергамене (материале, выделявшемся в древности из кож животных), сообщил житель г. Коврова Владимирской области Еремей Михайлович Малкин. Позднее он передал эту книгу в Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинский дом), в котором она и будет храниться как народное достояние.

Важное для ответа на поставленный в заголовке вопрос открытие — это находки новгородских берестяных грамот. В самом деле, ведь только в 1951 году, во время очередных археологических раскопок в Новгороде, научная экспедиция под руководством члена-корреспондента АН СССР А. В. Арциховского обнаружила ранее не известный науке вид памятника письменности — берестяные грамоты. Сейчас их найдено уже более 500; все они относятся к XI—XV векам. Написаны грамоты на внутреннем (реже на наружном) слое бересты острым орудием, типа шила или острия ножа, без применения чернил или красок. Написать такую грамоту мог любой грамотный че-

ловец, поскольку материал для письма ничего не стоил и буквально валялся под ногами. La

Как видно из содержания этих грамот, береста использовалась не только для деловых записей, различных подсчетов, деловых документов, но и для писем на разные темы личного или общественного характера. Кусок бересты с полена молодой березы мог послужить ребенку для тренировки в написании алфавита и слогов, для его детских рисунков (таковы, например, грамоты мальчика Онфима), молодому человеку для письма к девушке (грамота № 377: «От Микиты к Ульянице. Пойди за меня. Я тебя хочу, а ты меня...»), или № 24: «С человеком грамотку пришли тайно»). Известны письма на бересте от мужа к жене (№ 43: «Пришли сорочки, сорочки забыл»), от матери к сыну (№ 125: «Поклон от Марии к сыну моему Григорию. Купи мне хорошую зендяню [название ткани], а деньги я дала Давыду Прибыше. А ты, дитя, сделай это сам и привези сюда»), от сына к матери (№ 358: «Поклон госпоже матери. Послал с посадничим Мануилом 20 белок к тебе...»), или № 354: «Челом бью госпоже матери. От Онисфора. Вели Нестеру...»).

Открытие новгородских берестяных грамот показало не только маловерам или людям, сознательно пытающимся принизить уровень образованности и вообще культуры в Древнерусском государстве, но и серьезным ученым, подходившим без предвзятости к этому важному вопросу, что распространение грамотности в Древней Руси было несравненно более широким, чем можно было судить по известным до того времени памятникам письменности — написанным на бумаге, высеченным на камне, вырезанным на дереве или металле (см.: В. И. Борковский. Грамоты на бересте. — «Русская речь», 1968, № 3).

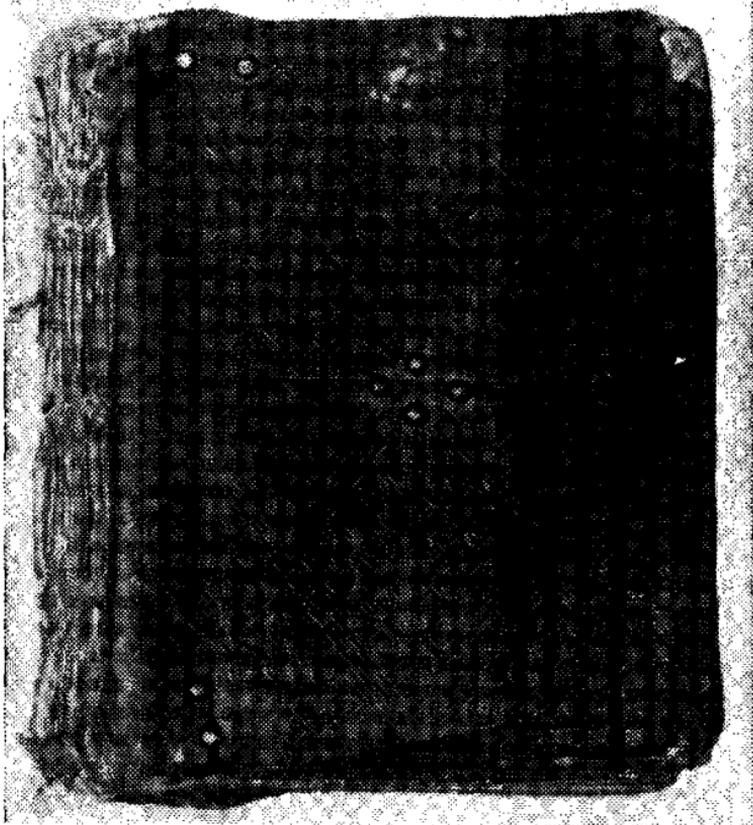
С определенной уверенностью ответить на заданный в заголовке вопрос позволяет нам значительное научное исследование Б. В. Сапунова «Некоторые соображения о древнерусской книжности XI—XIII веков» («Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР». Т. XI. М.—Л., 1955). Правда, в этой работе подсчитаны только книги, связанные с церковным обиходом. В ней идет речь об объеме церковной письменности и количестве написанных в Древней Руси богослужебных книг в период до монголо-татарского нашествия, то есть до первой трети XIII века включительно,

Б. В. Сапунов использовал данные историков и археологов о строительстве церковных зданий в Древнерусском государстве и сделал вывод, что со времени официального принятия Русью христианства (с 988 года) «за 250 лет по всей Руси было построено около 10 000 церковных зданий». В этот же период действовало около 200 монастырей. По мнению Сапунова, для совершения церковной службы нужно было не менее восьми книг. Другой советский историк, Т. Н. Протасьева, полагает, что к их числу необходимо прибавить еще две — октоих и часослов, не названные Сапуновым. Как показывает сохранившееся письменное наследие этих веков, книги, названные Сапуновым и Протасьевой, действительно существовали и дошли даже до нашего времени. Правда, некоторые специалисты полагают, что богослужебные книги параллельно или последовательно могли использоваться в нескольких церквях. Так или иначе, но общие выводы Сапунова о том, что «для совершения службы в 10 000 церквях и 200 монастырях нужно было иметь около 85 000 книг» и что «общее количество книг, бывших в обращении в Древнерусском государстве с X века по 1240 год, должно исчисляться порядком сотен тысяч единиц», весьма близки к истине.

Как показал составленный нами «Указатель памятников древней славяно-русской письменности по нарицательным названиям их и по именам их авторов (или по другим именам собственным)» («Советское славяноведение», 1969, № 1), кроме десяти богослужебных книг, названных Сапуновым и Протасьевой (евангелие, апостол, псалтырь, требник, общая минея, триодь постная и цветная, служебник, октоих и часослов), от XI—XIV веков дошли до нас еще несколько десятков разного типа книг. В их числе были и самостоятельные произведения, и разного рода сборники и компиляции. Среди них такие произведения:

Апокалипсис; Диоптра или Зерцало — сочинение Филиппа Пустынника, содержащее разговор души с телом о правилах христианской веры, о строении Вселенной и самого человека; Жития отдельных святых; Златая цепь — древнерусский сборник нравучений, взятых из сочинений разных христианских авторов, в том числе и русских проповедников; Златоструй — болгарский по происхождению сборник сочинений Иоанна Златоуста, предназначенный для домашнего чтения; Златоуст — сборник, составленный в последовательности недель церковного года из специально подобранных проповедей Иоанна Златоуста, иногда с дополнениями

*Изборник
1076
нижня
доска
переплета*



Кирилла Туровского и других авторов; Измарагд — сборник отрывков поучительных сочинений византийских и русских авторов; Лествица — сочинение Иоанна Синайского или Лествичника, содержащее руководство к монашеской жизни и непрерывному самосовершенствованию как бы путем трудного восхождения по лестнице (лѣствице); Летопись — погодные записи разных событий Древней Руси; Минея месячная — молитвы и песнопения в честь каждого по отдельности святого или праздника, расположенные в последовательности дней на все месяцы года (в отличие от Общей Минеи, содержащей молитвы и песнопения, общие для определенных категорий святых или праздников); Палея — свободное, отличающееся от библейского, изложение ветхозаветных историй, сопровождаемое критикой и толкованиями; Пандекты — правила об общих обязанностях монахов и философские размышления на эту тему; Цатерики разного содержания — собрания кратких повестей о святых какого-либо монастыря с выдержками из их слов, бесед и поучений; Прѣлог — славянский сборник кратких житий, расположенных по дням года; Пчела — изречения античных и христи-

анских философов, трудолюбиво (подобно пчеле) собранные составителем; Синаксарь или Минологий — византийский сборник церковно-учительного характера с избранными местами из житий святых (прообраз славянского Пролога); Тактикон Никона Черногорца — размышления о праславянской церкви в период ее борьбы с другими церквями и разделения христианской церкви; различные Уставы, среди которых особенно интересен своей лексикой монастырский устав, излагающий правила жизни и быта монахов; Хроника — исторические сочинения; Шестоднев — повествование о шести днях творения мира и опровержение теорий античных материалистов (его надо отличать от Шестоднева — богослужебной книги со службами на каждый день недели); многочисленные Слова и Поучения разных авторов.

С некоторыми из перечисленных произведений и сведениями об их авторах можно познакомиться в книгах: «Памятники византийской литературы IX—XIV веков» (М., 1969).

Среди авторов, широко представленных в древнерусских памятниках XI—XIV веков, мы находим такие имена известных византийских, римских и сирийских церковных писателей: Дионисий Псевдо-Ареопагит, Ипполит епископ Римский (первая половина III в.), Афанасий Александрийский (298—373), Василий Кесарийский или Великий (умер в 379 г.), его младший брат Григорий Нисский (335—394), Григорий Назианзин или Богослов (329—390), Иоанн Златоуст (344 или 354—407), его ученик Исидор Пелусиот, Феодорит Киррский (387—457), Кирилл Иерусалимский (315—386), Евагрий (умер в 406 г.), Ефрем Сирий (306—378), Геннадий Константинопольский (вторая половина V в.), Иоанн Схоластик (умер в 577 г.), Анастасий Синаит (умер в 599 г.), Иоанн Синайский или Лествичник (526—606), Григорий Двоеслов (540—604), Максим Исповедник (582—662), Иоанн Дамаскин (673—727), Феодор Эдесский (умер в 848 г.), Георгий Амартол (IX в.), Симеон Новый Богослов (949—1022), Филипп Пустынник (вторая половина XI в.), Никон Черногорец (вторая половина XI в.), Петр Дамаскин (вторая половина XII в.) и многие другие. Здесь же встречаем Климента Словенского, Иоанна экзарха Болгарского, Савву Сербского, многих русских князей и церковных деятелей.

Если судить только по числу дошедших до нас книг произведений названных авторов было на Руси гораздо

меньше, чем собственно богослужебных книг. Например, в наших книгохранилищах нашлись две русские летописи — I Новгородская и Лаврентьевская, три Хроники Георгия Амартола, одна Константина Манассии, четыре Диоптры (или Зерцала) Филиппа Пустынника, три Златоуста, пять Златоструев, две Пчелы и т. д., но 370 евангелий! Как известно, из произведений, написанных на Руси, не дошло ни одного списка «Слова о полку Игореве», зато мы располагаем почти сотней списков Апостола, переведенного у южных славян еще в IX веке.

Однако бóльшая сохранность богослужебных книг связана, по-видимому, не только с тем, что их действительно было больше, но и с тем, что их меньше читали. Их берегли, из них ежедневно читали в церкви небольшие отрывки, но для чтения в быту они использовались мало и «до дыр», видимо, не зачитывались.

Попробуем на основании соотношения сохранившихся рукописей XI—XIV веков, учтенных Археографической комиссией, подойти ближе к решению вопроса о числе книг в Древней Руси. Самая распространенная в ранние века нашей письменности книга — евангелие, это примерно четверть всего сохранившегося рукописного наследия.

От XI века до нас дошло 33 книги, из них 9 евангелий; от XI и XII веков вместе — 135 книг, из них 27 евангелий; от XI—XIII веков — соответственно 390 и 100; от XI—XIV веков — 1493 и 375.

Дальше будем рассуждать так. Известно, что уже к 1240 году на Руси было 10 тысяч церквей и 200 монастырей. За последующие полтора века число книг должно было по крайней мере удвоиться, так как монголо-татарское нашествие привело к невиданной до того времени потере книг и других материальных ценностей и потребовало восполнения утраченного в пожарах и при бегстве книжного фонда. Но все же будем сверхосторожны и условно посчитаем, что на Руси до XIII века включительно было написано всего лишь 10 тысяч книг евангелия. Из них сохранилось не более ста, ибо в число 100 в «Предварительном списке» вошли три старославянские евангелия — Зографское, Маринское и Саввина книга, а также несколько южнославянских. Учитывая данные Сапунова о 10 тысячах церквей, смело можно сказать, что из числа существовавших на Руси до 1240 года рукописей евангелия до нас дошло не более одного процента.

Как отмечено выше, книги не богослужебные должны были сохраниться еще в меньшей степени, чем богослужебные. Поэтому нет оснований предполагать, что из числа светских и полусветских книг могло дойти до нашего времени более одного процента. Но если так, то число всех книг, кроме евангелия, — 390 — говорит о существовании в домонгольский период 39 тысяч книг. Если принять затем указанные в «Предварительном списке» числа 1493 и 960 из них (несомненно, русские) за один процент сохранившегося наследия, то можно было бы говорить, что в XI—XIV веках было 149 300 рукописных книг и среди них 96 тысяч русских. Но учтем, однако, и следующие обстоятельства. С одной стороны, от XIV века процент сохранности значительно больше; значит, предполагаемое число 96 тысяч русских книг может оказаться несколько завышенным. Но, с другой стороны, если учесть слабую сохранность светских и полусветских книг, употреблявшихся для личного чтения, а не при церковной службе, то число 96 тысяч может оказаться и сильно заниженным. Так или иначе, количество рукописных книг, написанных в Древней Руси до XIV века включительно, как видим, составляло около 100 тысяч экземпляров, а вместе с завезенными из южнославянских стран должно было превышать это число.

Вся эта огромная литература формировала сознание наших предков и, что особенно важно учитывать языковедам и всем, интересующимся историей русского языка, она формировала древнерусский литературный язык, а вместе с тем оказывала влияние и на живую речь древнерусского народа, предка современных русских, украинцев и белорусов.

Доктор филологических наук
Л. П. ЖУКОВСКАЯ





❖ Растекаться мыслью по дереву ❖

Когда человек много и витиевато рассуждает, то о нем часто говорят: «растекается мыслью по дереву». Многие знают, что это выражение, ставшее ходячим, взято из замечательного произведения Древней Руси XII века «Слова о полку Игореве». Этими словами неизвестный автор «Слова» характеризует творческую манеру своего предшественника, «вещего» певца Бояна: «Боянъ бо вѣщии, аще кому хотяше пѣснь творити, то растѣкашеться мыслию по дереву, сѣрымъ вѣлкомъ по земли, шизымъ орломъ подѣ облакы». Что же имел в виду автор памятника, когда писал о Бояне: «растѣкашеться мыслию по дереву»? По поводу смысла загадочного оборота со времени открытия «Слова о полку Игореве» ведутся споры среди исследователей и переводчиков, споры, которые не утихают и в наши дни.

Начнем с объяснения значений каждого слова в отдельности, чтобы потом перейти к смыслу всего выражения.

Растѣкашется. Глагол *течь* ныне связывается в прямом значении с жидкостями или веществами, имеющими их свойства. Но еще совсем недавно, в поэзии XIX века, этот глагол употреблялся и в значении 'идти, двигаться вообще'. Так, например, у Пушкина читаем:

Ретивы кони браню пышут.
Усеян ратниками дол,
За строем строй течет,
Все мезью, славой дышут.

В древнерусском языке глагол *течи* был по смыслу гораздо шире. Он означал не только движение жидкостей и т. п. веществ, но и несколько основных видов движения: передвигаться, идти, бежать, ехать, плыть, лететь. Почти в том же смысле употреблялось слово *растекашися*: оно означало те же виды движения в разных направлениях. Глагол *растѣкашися* встречается в древнерусских памятниках очень редко, как, впрочем, многие из приставочных глаголов. В «Материалах для Словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского он фиксируется лишь дважды: в рассматриваемом здесь выражении «Слова о полку Игореве» и в значении 'разливаться, выходить из берегов': «Уже рѣкы ростѣкаются» (Ипатьевская летопись, под 1282 г.).

В церковно-юридическом памятнике XIII века «Рязанской кормчей» есть такое выражение: «умъ ... отъ чувствѣвъ же въ миръ растекается». Полностью все материалы по этому слову будут даны в 5-м выпуске «Словаря-справочника „Слова о полку Игореве“», публикуемого сейчас издательством «Наука» (вышло из печати 3 выпуска).

Мыслию. Мысль выступает здесь в значении 'творческое воображение, творческая фантазия'. В 3-м выпуске упомянутого «Словаря-справочника» (1969) это значение иллюстрировано 13 примерами из разных произведений древнерусской литературы XI—XIV веков; вот некоторые из них, наиболее близкие по стилю к интересующему нас выражению: «Бых мыслию паря, аки орель по воздуху» (Слово Даниила Заточника. XII в., список начала XVIII в.); «Если то образъ сиць его есть чуденъ, то колма паче иже свѣтовъную сию доброту видеть, достоини суть дивити се и къ творьцу свѣтовноому мыслию възлетѣти и поклонитися ему и прославити и, им же сицу тварь есть добру створиль» (Шестоднев Иоанна экзарха

Болгарского, 1263); «Ибо яко вретиче обещало, ходя на пѣчье душу свою, иступаю от паки умомъ своим, ползая мыслию, яко змия по камению, не вѣды стяжания спасеннаго, ни стяжав крилу покаяния» (Послание Даниила Заточника. XIII в., список XVII в.); «Величавыи позна свое естество, иже вещью бесъмьртѣнь высокомыслье мниться веченъ, мыслью паря аки орелъ» (Пролог, 1383). Таким образом, здесь налицо сравнения аналогичные или почти аналогичные тому, которое мы встречаем в «Слове о полку Игореве».

Д р е в у. *Древо* — неполногласный вариант от *дерево* (ср.: град — город, вран — ворон, врата — ворота), употребленный в самом прямом смысле 'дерево (на корню)'.

Таково отдельное значение каждого слова в выражении *растѣкашеться мыслию по древу*.

А в целом это выражение образно, метафорично, и служит первым компонентом так называемого «параллелизма». Этот «параллелизм» до сих пор остается предметом сложных разысканий многочисленной армии исследователей, переводчиков и просто поклонников «Слова о полку Игореве». В 1833 году в журнале «Московский телеграф» Н. П. Полевой писал: «Думаю, что здесь разумеется отнюдь не мысль, а что-нибудь другое ... не зверок ли, не птичка ли какая, ибо тут видимая постепенность сравнений — облака, земля, дерево — орел, волк — мысль?». «Догадку» Полевого, основанную на соответствии одного из членов «параллелизма», подхватил Карелкин: «Мы случайно узнали, что есть такой зверок, который именно бегаёт по деревьям — не мышь, а мышь. В Псковской губернии Опочецком уезде [ныне Опочецкий район Великолукской области] мышью называют белку или векшу». Видимо, с легкой руки Карелкина *мышь* попала в Словарь Даля. К мнению, что *мыслию* следует читать как *мышю*, присоединились некоторые советские исследователи и переводчики: И. А. Новиков, Н. М. Егоров, Н. В. Шарлемань, В. В. Мавродин. Каждый из них предлагает видеть в этом слове свой особый зоологический вид зверька (белку-векшу, летягу, соню).

По поводу всего этого можно сказать только то, что в памятниках Древней Руси слово *мышь* в данных значениях не встречается, нет его и в ленинградской картотеке Псковского областного словаря. Очевидно, обычное слово *мышь* в диалектном звучании *мышь* (мена *ш* — *с* — одна из древнейших фонетических черт псковских говоров, до-

шедшая до наших дней) было принято Карелкиным за новое слово, означающее особого лесного зверька.

Если Е. В. Барсов в фундаментальном труде по «Слову о полку Игореве» выбрал компромиссное чтение *мыслию* — *мыслю*, то другая, более многочисленная группа толкователей памятника предпочла оставить слово *мысль* без изменений. Однако все же их мучило непонятное на первый взгляд соединение «мысли» с «древом». Поэтому они стремились выяснить вопрос, что же это за «дерево»? Многим казалось, что тут, конечно, не обычное дерево — ведь иначе как же по нему Боян мог растекаться мыслью?

Появился ряд очень сложных разысканий, в которых была затронута история средневековой мировой литературы и устного народного творчества. Дело осложнялось еще тем, что несколькими строками ниже в «Слове о полку Игореве» мы снова встречаем почти тот же метафорический образ Бояна — соловья, скачущего по «мыслену древу»: «О Бояне, соловію стараго времени! а бы ты сіа плъкы ущекоталь, скача, славію, по мыслену древу ...».

Некоторые толкователи пытались связать «мысленное дерево» с библейским деревом познания добра и зла. Поэт А. Н. Майков, например, связывал «дерево» со скандинавским эпосом (Эдда) и толковал его как мифическое дерево, росшее в царстве богов корнями вниз. И. И. Вяземский объяснял его как дерево жизни, дерево человеческого рода. Д. В. Айналов, опираясь на библейское дерево познания, склонялся к тому, что это дерево мысли, мудрости. В. Ф. Ржига, исходя из поэзии средневековых скандинавских скальдов, видел в «мысленном древе» «Слова о полку Игореве» дерево песен, поэзии. В последние десятилетия некоторые исследователи (Н. А. Мещерский, Н. В. Шарлемань) вспомнили предположение М. Г. Халанского, высказанное им в 1894 году, что *древом* — *мысленным деревом* — в «Слове» назван музыкальный инструмент, гусли, на которых играл Боян. Н. В. Шарлемань, правда, склонен предполагать здесь не гусли, а лютню, впоследствии превратившуюся в бандуру или кобзу. Таковы основные предположения по поводу «мысленного древа» «Слова о полку Игореве».

Думается, что дело обстоит значительно проще. *Дерево* «Слова о полку Игореве» как в первом, так и во втором случае — это, по-видимому, обычное дерево, но представляемое в воображении, в мыслях. *Мысленным* оно было

названо автором для подчеркивания метафоричности образа. Такое значение подтверждают материалы древнерусских памятников. Предметы и явления, названные в памятниках *мысленными*, самые разнообразны: зверь, рай, секира, волк, свет, буря, земля, фараон и т. д. К сожалению, *древо* в сочетании со словом *мысленный* пока обнаружить в древнерусских памятниках не удалось, но ведь учеными обследовано из огромного числа рукописей еще довольно малое количество. Возможно, со временем этот пробел будет заполнен, как это было со многими другими.

Вернемся снова к выражению *растѣкашется мыслию по древу* в целом. Его надо, видимо, понимать так: Боян растекался своим творческим воображением, как соловей по дереву, как серый волк по земле, как сизый орел под облаками. Никакой кажущейся несообразности здесь нет: соловей — волк — орел, дерево — земля — небо (под облаками). Автор «Слова о полку Игореве» создавал первый компонент образа, имея в виду сравнение Бояна с соловьем, что доказывает обращение его к Бояну несколькими строками ниже. Почему же автор «забыл» назвать его соловьем в первом случае? Здесь можно высказать два предположения: или это не вызывалось необходимостью, поскольку величание Бояна соловьем было очень распространено среди современников «Слова о полку Игореве», и не требовалось особых пояснений, чтобы понять, кто же мог «растекаться по древу»; или это слово было утеряно кем-либо из переписчиков рукописи где-то в глубине четырех столетий, которые отделяли ее от подлинника.

Таким образом, Боян сравнивается здесь с тремя представителями животного мира, причем каждый из них действует в родной среде, где наиболее ярко и полно могли проявиться его основные свойства, с древности ставшие символами в литературе и фольклоре: соловей — непревзойденный певец, мастер неожиданных по красоте вариаций пения; волку свойственна быстрота и неутомимость бега; орлу — царю птиц — присуща высота и свобода полета. На этих символах и построил неизвестный автор «Слова о полку Игореве» метафорический образ, характеризующий творческую манеру «вещего» Бояна.

Кандидат филологических наук
В. Л. ВИНОГРАДОВА



ЕЩЕ РАЗ

Кур во щи»

В русском языке с его богатой и разнообразной фразеологией есть выражения, неизменно вызывающие особый интерес любителей русской словесности. Это фразеологизмы с неясной «внутренней формой», то есть такие, значение которых для современного восприятия немотивировано. Как правило, это старые фразеологизмы, известные в языке с давних пор: «Собаку съел на чем-либо»; «Разводить турусы (на колесах)»; «Куда Макар телят не гонял»; «Отставной козы барабанщик»; «К черту на кулички» и т. п. Существуют различные исторические и этимологические объяснения этих выражений, открывающих простор широкой фантазии. О происхождении их, об исходной форме, о первоначальном значении высказываются самые различные предположения и догадки, хотя зачастую и очень далекие от науки.

Особенно «повезло» в этом отношении фразеологизму «Как кур во щи» (попадать, попасть, понасться, угодить). Не будет преувеличением сказать, что о нем пишут чаще всего и категоричнее всего. Пишут в учебной литературе для школьников, в журналах, в специальных брошюрах и статьях по культуре речи и даже в газетах. И хотя, казалось бы, значение этого фразеологизма — «попадать в неожиданную беду, в неприятность» не противоречит его форме, тем не менее именно форма, а с ней и мотивированность его значения ставится под сомнение.

В популярной литературе, рассчитанной на широкий круг читателей, образование этого фразеологизма объясняется очень просто: *кур* — по-древнерусски «петух», а *во щи* — позднейшая переделка выражения *в ощиц*. Писатель Б. Н. Тимофеев в книге «Правильно ли мы говорим?» (Л., 1961) рассказывает об этом так:

«„Попал, как кур во щи“. Явное искажение, хотя и очень древнее. Из кур, как правило, щей не варят. В чем же дело? Куда же в таком случае попал петух (кур — в старинном наименовании)? Все дело в искажении народной поговорки: „Попал, как кур в ощиц“». Такое же объяснение дается в изданной на год раньше книге для детей Эд. Вартаньяна «Из жизни слов»: «„Щей“ в нашей поговорке раньше никаких не было. Раньше она произносилась правильно: „Попал как кур в ощиц“, то есть был ощипан, „не повезло“. Слово „ощиц“ забылось, и тогда люди выражение „в ощиц“ волей-неволей переделали на „во щи“».

В самом деле, если «из кур щей не варили» и «не варят», то компонент *щи* в этом фразеологизме «не исконный», появление его требует своего объяснения. Поэтому нет ничего проще, как прибегнуть к объяснению в духе народной этимологии: *щи* произошли из слова *ощиц*, которое забылось, а выражение *в ощиц* стало *во щи*!

Примерно такое же толкование приводится в книжечке Е. Г. Ковалевской «История слов» (М.— Л., 1968), предназначенной для школьников: «Так как выражение „Попасть как кур в ощиц“ вначале употреблялось лишь в устной речи, то произошло переосмысление этого выражения в народном духе: конечный согласный мог произноситься нечетко и постепенно перестал употребляться, к предлогу „в“ отошел первый гласный звук корня (?!), образовалось новое словосочетание „Попасть как кур во щи“, хотя с петухом, с курой в России варили лашшу, а не щи».

Здесь все сомнительно. Замену одного компонента другим нельзя объяснить тем, что фразеологизм употреблялся в устной речи. Другие фразеологизмы, пословицы, поговорки, существовавшие только в устной форме, не подвергались переосмыслению. И еще: если постепенное исчезновение конечного согласного в слове *ощиц* признается закономерностью, действовавшей в русском языке (неясно только, когда, на каком этапе истории русского языка), то как же уцелели многочисленные слова аналогичного строения — такие, как *окрик*, *обжиг* и т. п.?

Из популярной и учебной литературы такое объяснение истории фразеологизма *как кур во щи* попадает и в научные статьи, на страницы солидных лингвистических журналов (см., например, статью М. В. Палевской в журнале «Филологические науки», 1966, № 2). Более того, фразеологизм в его якобы исходной, начальной форме *как кур в ощиц* под непосредственным влиянием такой литературы проникает в современную разговорную речь, начинает употребляться писателями, отмечается в языке прессы: «Его [П. М. Соврасова] допрашивали по нескольку часов, требуя сообщить адреса секретных научных учреждений и фамилии ученых, занимающихся секретными проблемами... На четырнадцатый

день пребывания в испрошенном политическом убежище Петр Михайлович окончательно понял, что влип, как кур в щип» (В. Арда-матский.— «Известия», 6 февраля 1968).

Рассмотрим подробнее аргументацию сторонников «реконструированной» формы фразеологизма. В какой степени такая реконструкция отражает подлинную историю выражения «Попадать как кур во щи»?

Варят ли из кур щи? В наших современных представлениях щи — это обязательно жидкое кушанье из капусты, чаще на мясном бульоне: «Основными продуктами для приготовления щей служат белокочанная капуста или зелень шпината и щавеля. Можно приготовить щи из молодой крапивы или из щавеля с крапивой. Щи готовят на мясном, овощном, рыбном, грибном бульоне» («Энциклопедия домашнего хозяйства». М., 1966). В таком значении слово *щи* было известно уже в XVIII веке. В. Е. Адоуров в первой русской, доломонсовской, грамматике, изданной на немецком языке Академией наук в Санкт-Петербурге в 1731 году, — «Anfangs-Gründe der Russischen Sprache» — приводит слово *щи* как пример существительных, у которых нет формы единственного числа. Там же дается толкование значения этого слова: «eine gewisse Art von Suppe aus gestossen Kohl und Fleisch gemacht» (род супа из рубленой капусты и мяса).

Однако это русское кушанье в разных местах России и в разное время могло готовиться иначе. *Щи* в старинном русском языке и в его многочисленных говорах — не только суп из рубленой капусты и мяса, но и похлебка из щавеля, ботвиньи или кислой капусты и похлебка из свежей капусты, это щи из говядины и щи из дичи, это, наконец, и щи из курицы с капустой. Писатель Л. Раковский в статье «Чувство языка» («Звезда», 1962, № 4) приводит такое свидетельство этому: «Знаток Сибирского края М. А. Сергеев, много ездивший по Сибири и писавший о ней, рассказывал, как в Нарыме он попросил хозяйку квартиры сварить курицу, рассчитывая отведать куриного бульона. Хозяйка сварила курицу в самых доподлинных кислых щах». Для некоторых мест *щи* — это даже «уха из рыбы».

Древним «основным значением слова *щи*», — писал в свое время Г. А. Ильинский, — была «похлебка, приготовленная из сока каких-либо растений. Отсюда делается понятным, почему в современном русском языке *щи* может обозначать самые разнообразные виды супов или похлебок: и из капусты, и из свеклы, и из крупы, и из картофеля, и даже из конопли».

Короче говоря, щи из кур варили. Но даже если исходить из того, что в выражении «Попасть как кур во щи» отображена необычная, редкая ситуация, то и тогда нет причин искать здесь

языковую ошибку. Сама необычность приготовления щей из мяса «кура» могла послужить основанием для словесного образа. Вспомним, что фразеологизм этот имеет не просто значение '(попасть) в беду', а '(попасть) в неожиданную беду'; именно этой неожиданности и нет в искусственной форме *как кур в ощиц*. На это обстоятельство указывает и Г. А. Ильинский: «В настоящее время щи нередко готовят на мясном наваре, но прежде они представляли, кажется, исключительно постную пищу, и, быть может, этим объясняется смысл поговорки „попался, как кур во щи“: теперь, когда исконное значение имени *щи* забыто, мы должны были бы говорить в духе этой пословицы: „попался, как кур в уху“».

Как бы ни были интересны экскурсы в область старорусской кулинарии и дискуссии на тему о том, мог или не мог кур попасть во щи, для научного объяснения истории фразеологизма лингвист, историк языка, должен опираться только на факты самого языка.

Что можно сказать о времени возникновения этого фразеологизма? «Одни думают,— пишет Эд. Вартаньян,— что еще при Дмитриии Самозванце, когда „в ощиц“ попали польские завоеватели; другие — что в Отечественную войну 1812 года, когда русский народ принудил к бегству полчища Наполеона».

Историю фразеологизма целесообразно начать с истории слов, его составивших. Прежде чем могло образоваться само выражение *как кур в ощиц*, в языке должны были быть слова *кур* и *ощиц* в одной и той же сфере употребления и приблизительно в одно и то же время. Между тем если слово *кур* в значении 'петух' было хорошо известно в старом письменном языке (оно встречается уже в XI веке в «Остромировом Евангелии», известно и современным диалектам), то слово *ощиц* как отглагольное существительное (от глагола *ощипать*) мужского рода впервые отмечается только в Словаре В. И. Даля. Его нет ни в записях диалектной речи, ни в древнейших словарях русского языка. Не замечено оно и в памятниках древней письменности. От глагола *ощипывать* (ощипать) в письменном языке издавна были известны отглагольные существительные *ощипывание* и *ощипание*; разговорная же форма *ощипка*, возникшая по широко распространенной в языке словообразовательной модели (обварка, обвеска, обжимка и т. п.), попадает в литературный письменный язык, видимо, не ранее второй половины XVIII века.

Сомнительно, чтобы в языке могло появиться выражение *как кур в ощиц*, если наличие слова *ощиц*, образованного от очень распространенного глагола *ощипати*, никак не подтверждается; вероятно, его просто не было в древнем языке. В то же время, слово *щи*, сфера употребления которого также была ограничена разговорной речью, известно по памятникам письменности, слова-

рям, грамматикам со времен русского средневековья. Это специфически русское слово. В XVIII веке оно уже было представлено в самых различных словосочетаниях: хлебать щи; щи крапивные; забелить щи сметаной; щи из кислой капусты; щи из свежей капусты; пустые щи; ленивые щи и т. д. (Словарь Академии Российской. СПб., 1794).

Вот примеры употребления этого слова у писателей XVIII века: «Готов покрытый стол... Свинья копчена, И с курицей пирог» яичница, дrochena, Курдюк ордынския овцы, Щи, потрох и рупцы» (Сумароков. Песни Адаму и Еве); «В разсуждении пищи можно сказать, что все живущие по Черемшану много сходствуют с Русскими. Они варят щи, кашу, пироги и проч.» (Лепехин. Дневные записки путешествия...); «Не бойтесь сказать ни кому, что вы корову доить умеете, что щти и кашу сварите, или за жаренной вами кусок мяса будет вкусен» (Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву).

Естественно предположить, что фразеологизм *как кур во щи* мог возникнуть в языке в то время, когда *кур* было еще живым словом разговорного и письменного языка, но в то же время, когда уже появилось и стало широко употребляться слово *щи*. Это время — вторая половина XVII и начало XVIII века. *Кур* действительно остается еще в это время живым словом языка. «Кур на гноевище обрете адамант или алмаз» (Краткое и полное руковедение во арифметику, или в обучение и познание всякого счету, в сочтении всяких вещей); «Тати в дом некий внидоша, ничесоже не обретши... кроме кура... егда же убити его хотяша, проси их да пустят его жива, сказываше им яко потребный и полезный есть людем, в нощи будит их труждатися» (Притчи Эссоповы на латинском и русском языке. В Амстердаме, напечатался у Ивана Андреева Тесинга, лета 1700); «Бог знает, чей кур, чей баран» (Сборник пословиц В. Н. Татищева. XVIII век).

Для того чтобы изменилось выражение *как кур в ощи* в *как кур во щи*, первое должно было предшествовать второму, или оба эти выражения должны были сосуществовать в языке в течение какого-то отрезка времени. Между тем нет никаких исторических данных, которые могли бы подтвердить, что выражение «Попап как кур в ощи» когда-либо существовало в языке. Ни в старых, ни в новых и новейших словарях русского языка оно не отмечено. Даже В. И. Даль, приводя в качестве примера на слово *ощи* речение «Ощипом шкуры не сымешь», не дает совсем выражения «Попасть как кур в ощи». Нет этого выражения и в старинных сборниках пословиц и поговорок. Материалы древнерусской и среднерусской картотек, картотеки языка XVIII века и картотеки русских народных говоров, находящихся в Институте

русского языка АН СССР, также не подтверждают наличия этого выражения. Наоборот, записи диалектной речи дают только форму *как кур во щи*.

Кстати, встречается в диалектах и выражение «*гусь во щи*, то есть попасть в беду» (А. Радонежский. Областные слова Ярославской губернии Рыбинского уезда.— Архив АН СССР).

Фразеологизм *как кур во щи* не пропускается ни старыми, ни новыми словарями, ни сборниками пословиц и поговорок. Еще в «Немецко-латинском и русском лексиконе» Вейсмана (1731) отмечена именно та форма фразеологизма, в которой он известен нам сейчас: «*du wirst schon ankommen, tanquam carpa ad festum, попадешься как кур во щи, как осел на сварбу*». В «Собрании 4291 древних российских пословиц» А. Барсова (М., 1770) приводится только «*Попал как кур во щи*».

В начале XIX века фразеологизм этот входит в язык художественной литературы. «— Жаль только Алексея Панкратича: как кур во щи попался» (М. Н. Загоскин. Кузьма Петрович Мирошев; речь идет о персонаже романа, попавшем под суд). К этому времени, видимо, уже твердо установилось и ударение во фразеологизме (на предлоге *во*); ср.:

При входе
Заплатила марк по моде,
Скинула манто в снях,
И вошла. Что вижу? — Ах!

Как кур во щи я попала:
Вся битком набита зала.
И какой ужасный сброд!
Все ремесленный народ.

И. П. Мятлев. Сенсация и замечания
г-жи Курдюковой за границей,
дан л'этранже

В течение XIX и в начале XX века можно отметить индивидуально-авторское преобразование формы фразеологизма — варьирование компонента *кур*: «— Вот дураки-то!.. [воры]. К кому забрались!.. Как куры во щи и попали... Это не Трофим Лохматый, у того и кони не в призоре, да и клеть хоть на тройке въезжай» (Мельников-Печерский. В лесах); «— Я попал туда, в казармы, как курица во щи,— начал он [врач Ерохин],— во исполнение приказов своего начальства иметь наблюдение за потерпевшими на „Марии“, медицинское, конечно» (Сергеев-Ценский. Утренний взрыв).

Современные словари во всех случаях включают только «Попал как кур во щи». Границы фразеологизма очерчиваются при этом следующим составом компонентов: *как кур во щи* (с ударением на *во*), а глаголы *попадать* (попасть), *попадатся*, *угодить* относятся к словесному окружению, то есть к словам, с которыми фразеологизм сочетается в речи. «Попасть, угодить и т. д. как кур во щи» — это значит в современном языке «попасть, угодить и т. д. в неожиданную беду, неприятность».

Итак, как бы ни были трудны разыскания в области истории и этимологии русских фразеологизмов, они должны опираться на факты истории языка, на котором говорил и говорит русский народ. Нельзя приписывать языку того, чего в нем не было и нет.

Что касается псевдонаучного объяснения образования фразеологизма *как кур вб щип* через *кур в ощип* в духе народной этимологии, то оно напоминает, по меткому выражению Л. Раковского, не более как историю со знаменитым «подпоручиком Кижее».

А. И. МОЛОТКОВ
Ленинград

ХИТРЕЦ " ХУДОЖНИК

В современном русском языке между этими словами нет ничего общего. Со словом *хитрец* связывается представление о человеке хитром, изворотливом, лукавом «Зять мой — *хитрец*; глаза отводить — мастер» (Тургенев. *Новь*); «Большинство крендельщиков считало меня *хитрецом* и пройдохой, который сумел ловко добиться своей цели» (М. Горький. *Хозяин*): А *художником* называют либо живописца, либо человека, мастерски, творчески выполняющего ту или иную работу. Однако в прошлом слова *хитрец* и *художник* были синонимами.

В Словаре В. И. Даля читаем: *хитрец* 'лукавый человек, пролаз, проныра, скрытный и двуличный'. Здесь же с пометой «стар.» (старое) отмечается и другое значение — 'художник, искусник, мастер', и приводится пример: серебряного... дьла хитрецы. То же значение с пометой «устарелое» приводится и в семнадцатитомном «Словаре современного русского литературного языка»: 'искусный мастер в чем-нибудь, на что-нибудь; искусник': «Да ты хитрец не на шутку... вижу, ты ловок На руку» (Жуковский. *Сказка о царе Берендее*).

Как устарелое и разговорное это значение отмечается и в слове *хитрый* 'искусный, изобретательный в каком-нибудь мастерстве', а *хитрость* обозначает не только изобретательность, мастерство, искусность в чем-нибудь, но и то, что выполнено с мастерством, с искусством: «На столе лежит хлеб, изукрашенной разны-

ми *хитростями*: по бокам узоры печатны, сверху города с заставами» (А. Н. Толстой. Царевна-Лягушка). Эти значения, для современного языка устаревшие, своими корнями уходят в глубину древности.

В древнерусском языке *хитрец* (хытрѣць) имело самое «положительное» значение, обозначая человека искусного, сведущего в чем-нибудь, знатока, мастера своего дела, художника. В «Материалах для Словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского мы находим примеры из древнерусских письменных памятников, в которых слово *хытрѣць* выступает именно в этом «положительном» значении: «рыбитвомъ *хытрѣця* почътемъ» (будем почитать искусного в ловле рыбы) — Стихирарь. XII в.; «Егда (ртуть) проливается на землю, то на многы части раздробится... дондеже пришедь нѣкыи *хытрець* паки опять совокунитъ ю в едно тѣло» (Когда ртуть прольется на землю, то она раздробится на многие части, пока не придет какой-нибудь мастер, чтоб снова собрать ее воедино) — Палея. XIV в.; «Нѣсмь бо женьци, но классобъиратели, ни *хитреци* книгамъ» (Мы не жнецы, а собиратели колосьев, не знатоки книг) — Слова Кирилла Туровского. XIV в.

Слово *хытрѣць* могло обозначать и просто художника, живописца: «Отя от Иерусалима... мудра *хитреца*» (Он взял из Иерусалима умелого художника) — Повесть временных лет; «Двѣри... украшены *хытрѣчемъ* Авдѣемъ» — Ипатьевская летопись (около 1425 г.).

Некоторые старые словари, например «Лексикон словеноросьский» Памвы Берынды (1627), отмечают для слова *хитрец* только одно значение — «художник, ремесленник», а словом *хитрость* называется ручное ремесло.

В древнерусских письменных памятниках отмечено много слов, образованных от корня *хытр-* (хитр-). Все они связаны со значением «искусный, мастерски исполненный». *Хытростыныи* «искусный»: «слово *хытростыно*» — Пандекты Никона Черногорца. XIV в.; *хытрство* «искусная работа»: «вижу хытрство и красоту ея» (вижу ее искусную работу и красоту) — Сильвестровский сборник. XIV в.; *хытрокъ* — «искусный человек, мастер своего дела, художник»: «Много... каменемъ придѣлали *хитроки*, где Венеція градъ стоитъ» (Много сделали из камня художники там, где стоит город Венеция) — Софийский временник. 1475; *хытро* — «искусно»: «Имать двереи 365 тако жъ и престоловъ, окованы бо *хитро* вельми» (Речь идет о храме святой Софии, который имеет 365 входов и столько же престолов, которые очень искусно окованы) — Странник Стефана Новгородца после 1347 года. Наиболее ярко значение «искусность, художество» выступает в слове *хытрость*. В сочетании с различными прилагательными оно обознача-

ет искусство, мастерство в чем-либо: волшебная *хытрость* (искусство волшебства), коньяная *хытрость* (искусство ездить на коне), врачевная *хытрость* (искусство лечить больных) и т. п.

Итак, в древнерусском языке у слов с корнем *хытр-* (*хитр-*) отчетливо выступает значение 'искусный, владеющий каким-либо ремеслом'. К этому значению близко другое — 'способный, знающий, ученый': «*хытръ* ученью» — Лаврентьевская летопись. 1377: «Есть мужъ в Селуни именемъ Левъ, суть у него сынове разумиви языку словѣнску, *хитра* 2 сына у него философа» (В Селуни есть человек по имени Левъ, его сыновья знают славянский язык, а два сына у него ученых-философа) — Повесть временных лет (о словах с корнем *хытр-* см. также заметку А. С. Львова. — «Русская речь», 1968, № 5).

Значение, близкое к современному 'хитрость, лукавство' у слов этого корня появляется позднее. В глаголе *хытрити* оно отмечается впервые в Смоленской грамоте 1230 года: «Тѣтъ ли сметь *хытрити*, а поставити и передъ судьєю» (Если кто посмеет хитрить, предать его суду). В слове *хытрость* это значение отмечено еще позднее, с XIV века. В Новгородской летописи XIII—XIV веков рассказывается об одном человеке, строителе стенобитных сооружений, который перехитрил врагов и «*хытростью* пусти на ня воду». То же значение отмечено и в грамоте 1349 года, где князьям предлагается сохранять мир друг с другом «безо всякое *хитрости*».

Как появилось это значение? Мы уже выяснили, что *хитрец* — это прежде всего человек, искусный в чем-либо, владеющий каким-нибудь ремеслом, ученый человек. Но владеющий каким-нибудь ремеслом слыл хитрецом в современном смысле этого слова, например владеющий искусством врачевания или искусством волшебства считался необычным человеком. Он, по представлению окружающих, был связан с потусторонними силами. Владеющий ремеслом обычно не делился своим умением с другими людьми и в их глазах выглядел человеком коварным, скрытным, *неискренним*. Отсюда и появляется у слова *хитрый* вторичное значение 'хитрый, лукавый, коварный'. Оно со временем прочно закрепилось в языке, а первоначальное 'искусный' стало книжным, устаревшим. Это значение сохранилось в сложных словах с первой частью *хитро-*: хитроумный человек — 'тот, кто обладает гибким, изобретательным умом', а хитросплетение — прежде всего 'искусное, сложное переплетение чего-нибудь, замысловатое построение, развитие, изложение...' (Словарь современного русского литературного языка).

Такое же изменение значения, как в слове *хитрый*, произошло в русском языке в глаголе *мудрить*. Древнерусское *мудрити*

значило 'размышлять, рассуждать'. Так, в «Слове Даниила Заточника» (XVI век) говорится о том, что всякий человек «...хитрить и мудрить о чужей бѣдѣ... а о своей подумать не может». Это «положительное» значение выступало во всех словах с корнем *мудр-*: *мудрец*, *мудрый*, *мудрость* и др. В современном языке «положительные» значения сохранились в словах *мудрец* 'человек большого ума', *мудрость*, *мудрый*. Правда, в слове *мудрость* Словарь под редакцией Д. Н. Ушакова выделяет в качестве разговорного значения 'сложность, замысловатость'. А вот глагол *мудрить* известен сейчас только в одном значении — 'поступать мудро, непонятно, хитрить, умничать'.

Слово *художник* (художьникъ) появляется в древнерусских письменных памятниках позднее, чем *хитрец*. Оно зафиксировано только в произведениях XIV века, употребление его очень ограничено, а обозначало оно то же, что и *хытрыць* — 'искусный человек, мастер своего дела': «И премудри художники» — Книга пророка Исаии. В другой редакции этого произведения слову *художникъ* соответствует *древодѣля* 'мастер по дереву': «Всѣхъ бо художникъ научи мя премудрости» (Научи меня премудрости всех мастеров) — Хроника Георгия Амартола. XIII—XIV вв. Упомянутый уже Словарь Памвы Берынды отмечает для *художник* значение 'ремесленник', как и для *хитрец*.

Художество в древнерусском языке имело несколько значений. *Художеством* называлось искусство, ремесло, умение что-либо делать! «врачевное *художество*» — Пролог. 1383; «*художество* волшебства» — Минеи. XV—XVI вв. Интересный пример находим в произведении XII века: «Житии Феодора Студита»: «Того ради всяко *художество* имъ въноутрь учимо бѣ жижительско и кузньчско тькальчское» (Поэтому каждое ремесло было им освоено: строительное, кузнечное, ткацкое). [В древнерусских письменных памятниках отмечено и другое значение слова *художество*. Там, где речь идет о «художествах дьявола», конечно, имеются в виду хитрые, лукавые, злые дела.

Для современного русского языка значение слова *художество* 'искусство, мастерство в каком-либо деле' — устаревшее, книжное, а значение 'дурной поступок, проделка, выходка' в Словаре Д. Н. Ушакова приводится с пометой «разговорное, неодобрительное».

В тех же значениях, что и *хытрыць*, *хытрыство*, *художьникъ*, *художество*, могли в древнерусском языке употребляться и *къзньникъ*, *къзньство*. *Козньниками* называли людей, преуспевающих в каком-либо искусстве, ремесле: «или мѣдници, или златари ... или инаци *къзньници*» (или медники или золотых дел мастера... или какие-либо другие художники) — Шестоднев. 1263.

Говоря о словах *художство*, *хытрость* — *хытрство*, мы приводили пример сочетаний этих слов с прилагательным *врачебный*. Характерно, что в одном из памятников отмечено и сочетание «*врачевское къзньство*» (врачебное искусство, врачебное ремесло) — Пролог. XIV в. В значении 'искусство, ремесло' могло употребляться и слово *къзнь* (кознь): «Порфирий... каллиграфскую кознь зъло хытръ вѣдыи» (Порфирий очень хорошо владел искусством каллиграфии) — Житие Святого Памфила. XIV—XV вв.

Итак, мы проанализировали три слова, обозначающие в древнерусском языке художника, мастера своего дела, человека, искусно владеющего каким-нибудь ремеслом: *хытръць*, *художьникъ*, *къзньникъ* и слова, родственные им. По мере развития языка эти слова претерпели существенные изменения. В одних из них прочно закрепились «положительные» значения (*художник* и однокоренные с ним); другие, образованные от корня *хытр-*, сохраняют только значение 'ловкий, идущий окольными путями' наконец, третьи — *къзньникъ*, *къзньство* утратились совсем. Правда, сохранилось слово того же корня *кознь*, употребляющееся в современном языке только в форме множественного числа. Оно далеко ушло по значению от первоначального 'искусство, ремесло'. В Словаре Д. Н. Ушакова читаем: «козни... (книжное, устаревшее). Тайные, злые и коварные умыслы, направленные против кого-нибудь». Но развилось это значние, несомненно, тем же путем, что и вторичные значения слов *хытрость*, *хытрый* 'лукавый, коварный'.

Кандидат филологических наук

Л. В. ВЯЛКИНА

ПОЧТА «РУССКОЙ РЕЧИ»

«Красивое» слово *ателье*

ФРАНЦУЗСКОЕ слово *atelier* 'мастерская' проникло в русский язык давно, но первоначально только в узком значении — 'мастерская художника'. Позже появились *ателье мод*. В наше время, в конце тридцатых годов, в городах открывались мастерские одежды, работавшие по индивидуальным заказам; по сравнению с швейными фабриками они

были предприятиями повышенного типа, размещались в помещениях, убранных не без претензий, и их называли уже не мастерскими, а ателье. Сейчас французский термин неоправданно распространился: он красуется на вывесках и скромных починочных мастерских и даже пунктов проката, где это совсем не к месту.



Чулан в театре

Представьте, что, покупая билет в театр, Вы спросили, есть ли еще хорошие места, и кассир Вам ответил: «К сожалению, первые ряды партера и чуланы проданы, остались только дешевые билеты». Вы, конечно, удивились бы, услышав, что в театре продаются билеты... в чуланы и места в этих чуланах считаются очень хорошими. Как не удивиться: каждый ведь знает, что словом *чулан* называют кладовую, подсобное помещение в жилом доме! Сейчас трудно поверить тому, что это слово, связанное с домашним бытом, могло быть использовано в языке как театральное. А на заре формирования в русском языке этой терминологии слово *чулан* употреблялось в театральном обиходе. Обратимся к памятникам конца XVII — начала XVIII века.

В описании своего путешествия по Италии в 1697—1699 годах один из культурнейших людей того времени стольник Петра I П. А. Толстой, известный как следователь по делу царевича Алексея, писал: «И бывает в одном театруме чуланов 200, в ином и 300... и кто похочет сидеть в особом чулане, тот повинен дать за чулан большую плату» («Русский архив», 1888, кн. I). Среди официальных документов 1703 года, касающихся работы первых русских театров, находим «Донесение о табаке, что курят в комедии», где сказано: «В комедийной большой деревянной хранилище во время комедийного действия смотрящие знатные особы русские и иноземцы... курят табак в чуланах и ходя по хорам и в нижних местах» (Московский театр при царях Алексее и Петре. Материалы, собранные С. К. Богоявленским. М., 1914).

Уменьшительное от этого слова *чуланчик* встречаем в одном из переводов А. Д. Кантемира, в сноске, объясняющей новое для русского языка XVIII века слово *партер*: «Партер. Палата та, где играют оперы, разделена на три части. Вошедши дверьми к передней стене, сделан феатр, около прочих трех стен кругом сделаны в несколько рядов чуланчики маленькие, из которых смотрят оперу знатнейшие особы... порожнее место меж феатром и чуланчиками называется партер, и там-то весь народ собирается» (Сочинения, письма и избранные переводы Антиоха Дмитриевича Кантемира. СПб., 1868).

Совершенно очевидно, что в приведенных контекстах *чулан* и уменьшительное от него *чуланчик* употреблены в значении 'место для зрителя; ложа в театре'.

Возникает вопрос, когда, откуда и в каком значении появилось слово *чулан* в русском языке. «Этимологический словарь русского языка» М. Фасмера регистрирует его появление с XVI века в значении 'кладовая'. Наши лексикологи обращали внимание на это тюркское по происхождению слово как на бытовое, указывая при этом, что его значение в языке XVI—XVII веков было более широким, чем в современном русском языке: не только 'кладовая', но и 'всякое небольшое помещение, отгороженное внутри дома или вне его'. Употребление слова в этом широком значении, очевидно, и позволило в конце XVII — начале XVIII века временно использовать его в качестве театрального термина.

К середине XVIII века восточное заимствование *чулан* уже перестало употребляться в русской театральной терминологии, в бытовом значении оно постепенно стало более узким. Сравним определения слова в «Словаре Академии Российской» (1806—1822): «Чулан... — небольшой покоец, отгороженный внутри дома или вне оного, служащий для клажи пожитков или другого чего», и современном «Словаре русского языка» в четырех томах (1957—1961): «Чулан... — подсобное помещение в жилом доме, обычно служащее кладовой».

Почему же все-таки слово бытового употребления использовалось, хотя и временно, в театральной терминологии, и почему в этом качестве оно не закрепилось в языке? Ответить на вопрос можно, учитывая особенности развития театральной терминологии в ранний период ее формирования.

В современном русском языке театральная терминология вполне сложилась, она богата; каждое понятие здесь имеет свое точное обозначение. Но в XVII—XVIII веках, как все, еще не сложившееся, театральная терминология была далека от стройности и совершенства.

Читая приведенные выше тексты, нельзя не обратить внимания на то, что понятие 'театр' в памятниках конца XVII — начала XVIII века обозначалось словами *комедийная трамина, театрум*; причем *театрум, театр* и *феатр* были вариантами одного слова, которое употреблялось не только в значении 'помещение, где происходят театральные представления, состоящее из зрительного зала и сцены', но и в значении 'сцена'. Кстати, сцену можно было назвать и старинным русским словом *позорище*. Например: «Великий государь... указал купить в государственный посольский приказ к комедийному делу на завес к театруму тафты зеленой» (Докладная Московского театра.— Материалы, собранные Богоявленским); «Таким способом показывается театр иногда княжескими палатами... иногда площадью, иногда пустынею» (Примечания на «Ведомости». 1733); «Феатр, слово греческое значит то место, где комедианты стоя изображают действие свое... позорище» (Кантемир).

Театральные представления назывались *комедиями, позорищными играми, действительными потехами*, вместо слова *актер* (его тогда в русском языке еще не было) употреблялись слова и словосочетания: *комедиант, говорящая персона, говорящее лицо*; зрителей называли *смотрителями*, а театральные труппы — *артелями*. Убедитесь в этом сами: «Перед двором своим... поставил театрум, то есть каменное зело высокое здание со многими теремы, для всяких комеди, то есть действительных потех» («Космография». 1670); «О позорищных играх, или комедиях и трагедиях» (заголовок статьи. Примечания на «Ведомости». 1733); «И ныне у наиболее политических народов позорищные игры от часу в большее употребление и возвращение приходят» (там же); «Что до языка говорящих персон касается, то без сомнения оно и есть наиспособнейший, который смотрители наилучше разумеют» (там же); «Такожде и театр так учредить и украсить надлежит, чтоб он великое сходство с тем местом имел, на котором говорящие лица представляются» (там же); «Имеется здесь много феатров... Каждая артель (сих комедиантов) желает, чтоб побольше к себе привлеци зрителей» (Кантемир).

Даже приведенные примеры дают возможность достаточно ясно увидеть, что для выражения одного и того же понятия, связанного с театром, в русском языке XVII — начала XVIII века употреблялось несколько слов, одни и те же слова использовались для обозначения совершенно разных понятий.

Все это говорит о неустойчивости терминологии, о том, что она еще не сложилась в русском языке того времени. И это понятно, если учесть, что профессиональный театр в России в конце XVII века только зарождался.

Театральная терминология в русском языке формировалась главным образом на базе соответствующих интернациональных европейских терминов. И становится понятным, почему у *чулана* столь необычная судьба: для обозначения новых понятий использовались первоначально и новые заимствованные слова, и уже известные в русском языке. *Чулан* в значении 'всякое небольшое помещение, отгороженное внутри дома или вне его' могло быть временно «приспособлено» для выражения понятия 'театральная ложа', поскольку точного термина в русском языке для обозначения этого понятия тогда не было. Однако в формирующейся терминологии искусства, где господствовали интернациональные термины, восточное по происхождению слово, употреблявшееся к тому же в бытовой сфере, конечно, не могло оставаться долго.

Слово *ложа*, источник которого — французское *loge*, закрепилось в русском языке как театральный термин уже в XVIII веке.

Д. П. ВАЛЬКОВА,

доцент Череповецкого педагогического института



Аккорд

В современном русском языке *аккорд* 'гармоническое соединение нескольких (не менее трех) музыкальных звуков' и 'соглашение, договор' — слова-омонимы. В языках-источниках (французское *accord* и итальянское *accordo*, восходящие к среднелатинскому *accordium*) это — многозначное слово с первичным значением 'согласие, соглашение' и рядом производных значений, употребляющееся и как музыкальный термин. В русском языке из одного слова получилось два прежде всего благодаря тому, что *аккорд* 'соглашение, договор' и 'созвучие' заимствованы в разные эпохи.

Первое из этих слов заимствовано в Петровскую эпоху, в самом начале XVIII века. На письме оно вначале передавалось по-разно-

му: акордь, акортъ, окордь, окорть. В «Письмах и бумагах Петра I», в сообщении от 1702 года читаем: «Крепость Нотебургъ... здалась на окорть» и далее: «здалась на окордь». В другом переводном памятнике той же эпохи рядом со словом употреблен его русский синоним: «Александрийские люди удивляются симъ боямъ и прибегая к ухищрению, стали просить у цезаря короля своего, которого он имъ отдалъ, надеясь, что сие поможетъ удобствовать акордь (или договоръ)».

В памятниках первой половины XVIII века *аккорд* 'договор' употребляется свободно в разнообразных словосочетаниях: «акордь учиненъ»; «какого акорду шведы требуютъ»; «обещаютъ имъ доброй окордь»; с предлогами: «по акорду», «выпущены на окорть», «на окорть привяли», «здалась на окорть», «привели къ аккорду»; «взяты на акордь». Предложная конструкция *на аккорд* синонимична наречию *аккордом*: «Белую церковь аккордомъ казаки взяли».

В документах 30—40-х годов XVIII века слово *аккорд* употребляется как термин, обозначающий 'соглашение, договор между сторонами в торгово-экономических отношениях': «И по вышеописанному отъ куратировъ представлению некоторые изъ российскихъ купцовъ по той цене аккордь заключили, а другие по 60 же процентовъ ныне взять желаютъ».

Аккорд 'соглашение, договор' — интернациональный термин, вошедший в русский язык из французского языка. Некоторые языковеды считают непосредственным источником заимствования польское слово *akord*, имеющее то же значение (см.: Н. М. Шанский. Этимологический словарь русского языка). Однако посредничество польского языка сомнительно. Против него говорит ударение на конечном слоге слова (в польском, как известно, все слова имеют ударение на втором слоге от конца). Не свидетельствует о зависимости от польского языка и употребление *аккорд*, выступающего в памятниках Петровского времени в самых различных предложных конструкциях. Фразеологизм *взять на аккорд* не адекватен, как думают некоторые исследователи, польскому *wziąć przez akord* — буквально 'взять по акорду'.

Неубедительна и ссылка на орфографию — первоначальное написание слова с одним *к*. В документах Петровского времени нередки колебания в написании иностранных слов с удвоенным согласным, причем варианты с одним согласным ближе к живому русскому произношению (ср., например, *асамблея* в документах этой эпохи и *assambla* в польском языке). Показательно, что орфографически варианты *аккорд* и *акорд* отмечены даже в «Новом словотолкователе» Н. Яновского (СПб., 1803), спустя столетие после появления слова в русском языке.

Ряд производных от слова *аккорд* 'соглашение, договор' образовался уже в русском языке: это прилагательное *аккордный*, отмеченное уже в документах начала XVIII века (в польском ему соответствует прилагательное с другим суффиксом *akordowy*: ср. польское *akordowa robota* и русское *аккордная работа*); наречие *аккордом* (пример см. выше); глаголы с суффиксами-дублетами *-овать* и *-ировать*, характерными для интернациональных терминов: *аккордовать* — 'даровать, давать что-либо' (ср. польское *akordować* 'согласовать'), ушедший из языка вскоре после Петровской эпохи, *аккордоваться* — 'дароваться, даваться' и *аккордировать* — 'заключать договор' (о службе) (ср. немецкое *assordieren*).

Слово *аккорд* 'соглашение, договор', употребленное в одном из документов 1710 года, применялось в официально-деловом языке, но не вошло в общее употребление. В «Лексиконе» Э. Вейсмана (1731) оно переведено русскими словами 'примирение, договор'. В «Толковом словаре» В. И. Даля 'соглашение, договор' — отмечено как первичное значение *аккорд*. Ср. употребление этого слова в смысле 'сделка' в произведении М. Е. Салтыкова-Щедрина «В среде умеренности и аккуратности»: «Ну слушай! Пойдем на аккорд: пять рублей я тебе отдам сейчас, а пять — через год. Хочешь?».

В современном русском языке употребительно прилагательное *аккордный* в выражениях *аккордная работа*, *аккордная оплата труда*. Само слово *аккорд* 'соглашение, договор' в словарях отмечается ныне как устаревшее. Однако оно все еще широко используется в контекстах, где речь идет об условиях труда на капиталистических предприятиях, и в таком употреблении его нельзя назвать архаизмом. Именно так пользуется этим словом, например, автор статьи «Аккордная лихорадка» («Комсомольская правда», 2 апреля 1967), рассказывая о тяжелом положении «аккордных» рабочих на фордовском заводе в Кельне: «Причин нерентабельности не пришлось долго искать для „аккордных“. Аккордный бережет каждую минуту... В перечете на деньги обед ему будет стоить не одну, а три марки и даже больше в зависимости от его аккордного заработка. А большинство оплачивается аккордно. Рабочие это понимают. Они говорят: „Аккорд — это медленное самоубийство“».

Музыкальный термин *аккорд* 'созвучие', 'гармоническое соединение нескольких (не менее трех) музыкальных звуков' появился в русском языке значительно позднее *аккорда* 'договора' — во второй половине XVIII века. Впервые объясняется оно лишь в упомянутом Словаре Н. Яновского. До заимствования этого слова в русском языке то же понятие называлось термином *согласие*. Еще в начале XVIII века певчим дьяконом Иваном Шайдуровым был установлен принцип организации звукоряда «знаменного пения» —

церковного пения, заключающегося в чтении нараспев в две ноты. Шайдуров разделил этот звукоряд на равномерные отрезки, состоявшие из трех звуков, и назвал их согласиями. Термин *согласие* характеризует еще ранний этап развития музыкальной культуры в России. «Последование аккордов в этих... обработках часто может показаться случайным, хотя можно уловить определенные, гармонические закономерности», — пишет об этом этапе современный исследователь (см.: Ю. В. Келдыш. Русская музыка XVIII века. М., 1965).

Со второй четверти XVIII века в России начинается развитие оперной, камерно-инструментальной и симфонической музыки. Обучение музыке входит в качестве обязательного элемента в систему дворянского воспитания. Проводниками новой музыкальной культуры, исполнителями были главным образом итальянские музыканты. С ними пришло в Россию и итальянское слово *аккорд*. Но утвердилось оно в языке лишь в последней трети XVIII века. Показательно, что А. Д. Кантемир, рассуждая о согласной игре смычковых инструментов, не употребляет еще этого слова: «Можно ли в том спорить, что смычок сам по воздуху летает, трогает струны и произносит тон согласной и приятной? Кто тому поверит. Когда же человек, руками своими согласно и нежно трогая, играет, не должно ли сказать, что человек весьма искусный и так, применяясь к сему, можем ли о сотворении света сомневаться?» (Сочинения, письма и избранные переводы князя А. Д. Кантемира. Т. II. СПб., 1867).

На итальянский источник музыкального термина *аккорд* указывает ряд словарей XIX и XX веков. Нет веских оснований считать *аккорд* 'созвучие' заимствованием из французского языка (еще Н. Яновский объяснял его как галлицизм). Галлицизм в действительности — *аккорд* 'договор, соглашение', а новый музыкальный термин появился из практики итальянских музыкантов в России.

Но характерно, что орфографически новый термин вел себя некоторое время так же, как и старый. Не случайно у Пушкина мы встречаем музыкальный термин в двух написаниях — с двумя и с одним. Ср. в «Евгении Онегине»:

...нахмуря бровь,
садился он за клавиорды,
И брал на них одни аккорды...

В «Египетских ночах»: «Глаза итальянца засверкали — он взял несколько аккордов — гордо подвнял голову, и пылкие строфы, выраженные мгновенного чувства, стройно излетели из уст его...».

Вместе с развитием музыкального термина *аккорд* появилось и новое прилагательное *аккордовый*, употребительное в выражении

аккордовая музыка. Примечательно, что в польском языке прилагательное *akordowy* 'сдельный' не имеет значения, соответствующего музыкальному термину. Таким образом, в русском языке два омонима *аккорд* стали различаться и своими производными.

Аккорд (музыкальный термин) в современном русском языке широко используется в переносном употреблении. В словарях отмечается сочетание *заключительный аккорд* — 'действие, явление, событие и т. п., которыми что-либо завершается, заканчивается'. В печати можно встретить и синонимичное сочетание *последний аккорд*.

Б. А. МАРГАРЯН
Ереван

ПОЧТА «РУССКОЙ РЕЧИ»

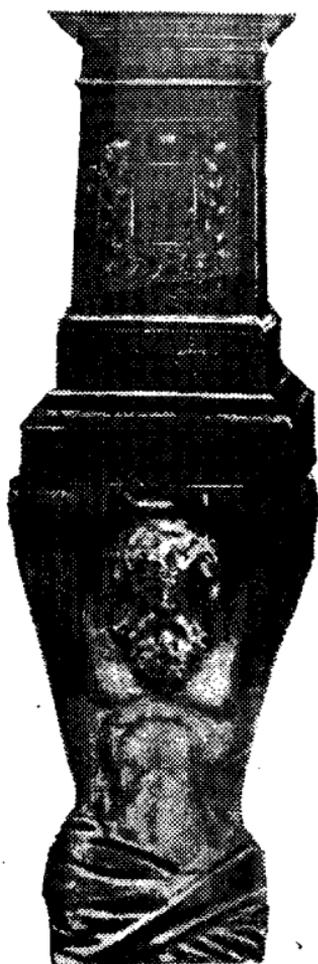
Юмор на кариатидах

Досадно, когда человек перевирает слова и термины по малограмотности. Тем более досадно, когда это делают образованные люди. И уже совсем плохо, когда подобное встречаешь в солидных печатных органах.

Судите сами. В «Литературной газете» помещен юмористический рисунок, на котором изображена человеческая фигура мужского пола, на плечах которой покоится тумба-пьедестал. Подпись: «Памятник кариатиде». Хотя это опубликовано на страничке юмора, но юмор здесь ни при чем. Совершенно очевидно: автор рисунка не знает, что колонны в виде мужских фигур называются атлантами. Кариатидами называются колонны в виде фигур женских.

Этого досадного ляпсуса могло бы не быть, не поленись автор и редакторы взглянуть в словарь, хотя людям, сотрудничающим в столь солидном печатном органе, надлежало бы знать об этом и без словаря.

С. В. Соколовский
Рига



Памятник
кариатиде



ОБРАЗНЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

ЗАДУМЫВАЛИСЬ ли вы когда-нибудь над тем, какой притягательной, волнующей силой обладают подчас географические наименования (топонимы)? Таинственным лесным полумраком повеет от названия незнакомого полустанка Берлога; едва ли не живым существом представится маленькая веселая речка Говорухка; простор и раздолье почувствуешь в названии лесного урочища Синие Моря. Такие названия не просто выполняют первую и основную функцию всякого географического имени — обозначить, выделить географический объект из ряда ему подобных, но и содержат в себе яркое, запоминающееся определение, тонкое наблюдение или сопоставление. Каждое подобное название представляет собою образ.

Среди географических наименований сравнительно немного образных топонимов, однако именно в них особенно ярко отражаются народная психология, меткость и сочность языка. Большинство образных названий относится к микротопонимике (наименованиям малых географических объектов), которая даже на самых точных картах отражена далеко не полно и известна только местным жителям. Кропотливая, тщательная работа по сбору образных названий и широкая их популяризация не только открывают еще одну страничку в книге языковых богатств русского народа, но и помогают практически. Ведь круг географических названий постоянно пополняется. Человек осваивает новые земли, покоряет неприступные вер-

*Статья написана
по материалам
Севернорусской
топонимической
экспедиции Уральского
государственного
университета имени
А. М. Горького
в Архангельской
и Вологодской областях.*



пины, строит города и поселки — и на карте возникают все новые географические названия. Но как часто в спешке мы не придаем значения такой малости — имени! И появляются на свет топонимические уродцы — поселки Канифольный, 17-й Квартал, Главсахар, Сельхозтехника, 228-й километр.

Или другая крайность — в стремлении дать красивое, яркое, поэтичное имя детищу своих рук забывают о том, что многие названия часто повторяются. Яркие и поэтичные сами по себе, топонимы Светлый и Ясный стали теперь шаблонными. Потеряв свежесть и образность, они к тому же доставляют немало хлопот почтовым работникам. А нередко рядом живут и бережно передаются от поколения к поколению географические имена, представляющие собой образцы подлинной красоты и неповторимости. И может быть, в поисках нового географического названия не нужно было становиться на путь стандартной романтичности, а стоило обратиться к одному из местных топонимов.

Занимаясь изучением образных географических названий, нужно прежде всего четко представлять, какие именно топонимы следует считать образными. Очевидно, что топонимы, просто констатирующие те или иные качества географического объекта (гора Высокая, болото Топкое), нельзя назвать образными, зато такие названия, как озеро Малыш, покос Сапог, ручей Серебряный, луг Хвост, дают образное представление об объекте.



От образных названий надо отличать и эмоционально-экспрессивные: луг Радость, село Любимое, пожня Красивая, покос Ласковка. Разделение это, конечно, достаточно условное, так как

многие топонимы относятся одновременно и к образным, и к эмоционально-экспрессивным: луг Разломинога, урожище Валивон.

Еще одну группу образуют названия, указывающие на определенное событие. Как правило, они связаны с какой-нибудь легендой. Например, название порога Мертвая Голова объясняется в легенде тем, что каждый год этот онежский порог забирал человеческую жизнь. Интересная легенда, дошедшая до нас со времен подсечного земледелия, толкует название поля Корабли. Здесь была подсека, ее выжгли и посеяли овес. Уродилось овса столько, что один из стариков сказал: «Ну, корабль с хлебом пришел». Так и появилось поле Корабли. Название Пропажа объясняется тем, что подсеку выжгли, но ничего не посеяли, и труд земледельцев пропал даром.

Подобные наименования мест, связанные с памятными (чаще всего легендарными) событиями, только примыкают к образным наименованиям, но по существу к ним не относятся.

Как видим, отделить образные названия от необразных подчас бывает непросто.

При сборе образных названий особенно важно выяснить, насколько это возможно, историю или мотивировку их возникновения, это помогает избежать ошибок. Легко посчитать образным, например, название лесной избушки Бесецка Конторка. Не правда ли, в названии чудится присутствие бесов, вершащих свои темные дела? Однако бесы тут ни при чем. Название это, как и многие другие, происходит от фамилии местного жителя. В местном произношении Бесевская Конторка (от фамилии Бесев) звучит Бесеська,

Бесецка. Точно так же деревня Философская не имеет никакого отношения к философии и философам. Это образование от собственного имени Философ.

К превратному толкова-



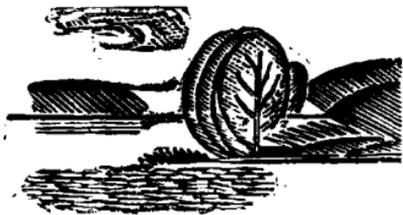
нию топонимов может привести и незнание местной географической терминологии. Так, названия покосов Милиционеров Нос и Теткин Носок отнюдь не образные. Нос (носок) — географический термин, известный на русском Севере в значении 'узкий мыс, глубоко вдающийся в реку (море)'. Значит, Милиционеров Нос — всего лишь находящийся на мысу покос, принадлежащий или принадлежавший милиционеру. Никакого образного видения в этом названии нет.



Есть еще более трудные случаи. Почему остров носит название Утопленник? Сохранились ли здесь отголоски давнего события, или же этот остров затапливается полной водой? Решить такие вопросы иногда помогает топонимическая легенда. Например, пожня Разбойник на Каргопольщине названа так потому, что там якобы видели когда-то разбойника, а камень на реке Волошке носит такое же название Разбойник уже по другой причине: об этот камень часто разбивались плоты. В первом случае перед нами одно из названий-рассказов, о которых уже говорилось выше: во втором — скорее простая констатация факта, только несколько не привычная для нас (разбойник — то, что разбивает). К тому же, не стоит вполне доверяться и топонимической легенде, так как она может носить вторичный характер, отражая позднее осмысление названия.

Но вот нам, наконец, удалось выявить несомненно образные названия. Прежде всего обращает на себя внимание предельная лаконичность образа в топонимике, ведь топоним представляет собой чаще всего одно, реже два-три слова. Однако мы находим в этих коротеньких названиях и щедрость эмоций, и скрупулезную точность характеристик, и тонкое чутье в использовании словообразовательных средств. И, как начало начал, за многими образными названиями стоит чувство любви к Родине, к ее природе и людям. Только поэт и патриот мог создать такое прекрасное название, как Москва — Золотые Маковки. Это сенокосный луг в Архангельской области. Полная неповторимой преле-





сти картина цветущего луга с золотыми маковками цветов вызвала в памяти самое дорогое и прекрасное для каждого русского человека — белокаменную Москву с ее золотыми куполами. В одном

ряду с этим названием находятся топонимы, связанные с персонажами былин и народными героями. Так, большой луг по Пинеге называется Илья Муромец. Он выделяется среди других лугов своей величиной, как богатырь силой среди людей.

Многим образным географическим названиям присуща положительная или отрицательная эмоциональная оценка географического объекта. В качестве примера отрицательно-оценочных образных топонимов можно привести названия, в которых упоминается черт — дивный и общепризнанный виновник всяческих людских бед: покос Черторой, урочище Чертова Ноша, озеро Чертова Яма, мыс Чертов Нос, ручей Чертовка, урочище Чертовы Портки, луг Чертов Пень, пожня Чертородина, ручей Чертолом. А как ласково звучит название двух небольших покосов, расположенных друг против друга по берегам реки Выи — Братеньки! Те же интонации отчетливо слышны и в названии луга Шопотки и урочища Золотое Донышко. Зато никто не усомнится в неприятных качествах омула под названием Пьяное Крыто.

В других случаях удивляет конкретность, четкость, точность образной характеристики объекта. Русский Север — край безбрежных лесных просторов. Эта бескрайность, сходная с бескрайностью моря, вызывает к жизни такие названия урочищ, как Океан, Море, Парус или уже упомянутые Синие Моря. Многие названия даны по сходству формы. Так, урочища нередко называются по сходству с животными: Оленьи Рожки, Сорочий Хвост, Бараний Рог, Вороний Нос, Коровьи Языки, Курье Гузно, Журавлиное Горло, Рыбья Голова, Лисьи Хвосты. Можно привести еще множество примеров подобных названий, где используются другие аналогии: луга Лоскуты, Треух, урочища



Сапог и Гармошки (расположенные по извилистым речным берегам), гора Колокольня, пожня Штаны, озеро Очки. Аналогии могут быть и более сложными. Размер и форма объекта одновременно отражены в названиях покоса Пуговка, характер поверхности — в названиях лугов Наковальня, Полати, Прилавок, расположение относительно другого объекта — в названии луга Хвост. Чистый, светлый, красивый луг называется Горница, тогда как покос, расположенный в глухом, темном, неприятном месте, получает название Тюрьма.



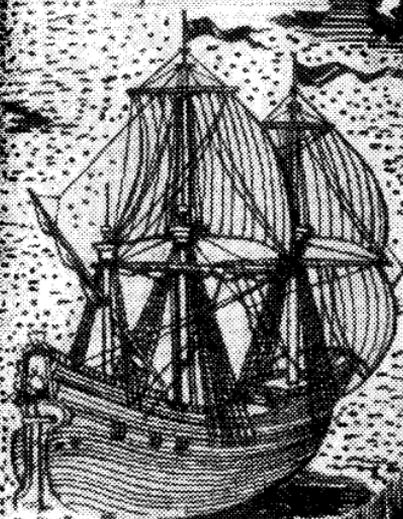
Разнообразна «механика» образности. Чаще всего образные названия основываются на метафоре: поля Шапочка и Скородка, покосы Скатерка, Клинок, озеро Сабля, луга Чашка, Рюмочки, Стрела, болото Зыбка. Нашли отражение в образной топонимике и другие художественные приемы — эпитет, олицетворение: ручьи Серебрянка, Серебряный, Серебряник, пожня Серебrenница, река Смуглянка, озера Лучезарное и Зеркальное.

Образные названия-олицетворения относятся чаще всего к небольшим ручьям и речкам. Это легко понять: журчащий, бегущий по камушкам, прихотливо выбирающий путь ручеек невольно воспринимается как живое существо. Так появляются названия ручьев Вертливцец, Будивец, Дикарь, Скакун (Скакунок), речек Певуниха и Говоровка. Легко можно представить себе и небольшой ручеек Жаворонок с его неумолкающей веселой песенкой. Впрочем, топонимы-олицетворения могут относиться и к другим географическим объектам: порог на реке называется Молчан, островок леса на болоте — Петушок, известны названия лугов Певунья и Говорятки.

Разнообразные и яркие, образные географические названия — настоящая жемчужина языка. Наш долг — помнить и беречь то прекрасное, что создавалось народом на протяжении многих веков и живет до сих пор, использовать в повседневной практике народный опыт и тонкое чувство языка.

Т. В. МАРАДУДИНА, А. К. МАТВЕЕВ
Свердловск

**РУССКИЕ
СЛОВА
НА КАРТЕ
АЛЯСКИ**



Взгляните на карту Аляски и Алеутской гряды. Вам бросится в глаза обилие русских имен и слов, а у острова Св. Матвея, затерянного в просторах Берингова моря, вы обнаружите название «Мыс Слава России».

За короткий исторический срок (конец XVI — начало XVIII века) русские, перевалив через Урал, преодолели просторы Сибири и вышли к Восточному океану, а затем, после экспедиции Беринга (1740), совершили смелый бросок к Алеутской гирлянде и материковой Америке.

Свыше тысячи объектов Аляски носят русские названия. Две трети из них — имена русских людей. В названиях более чем четырехсот объектов использованы русские корни. «Словарь географических названий Аляски», составленный Дональдом Ортом, отмечает русские названия, сохранившиеся до настоящего времени. Множество русских топонимов уже исчезло в результате переименований или переводов на английский язык. Правда, после приобретения Аляски США процесс образования русских топонимов не прекращался — их давали ученые и путешественники, службы и ведомства США, да и многочисленное русское, креольское и обрусевшее население (из алеутов, эскимосов и индейцев).

Трудно сказать, сколько сотен или тысяч русских топонимов исчезло с карты Аляски. Естественно, что такие частые названия-близнецы, как Долгие и Низкие, Лесные и Еловые, были заменены английскими эквивалентами (Long, Low, Woods и Spruce). Сходная судьба постигла многие другие русские названия, хотя не всегда имелись равнозначные синонимы. Так, островок Непропускной (близ Ситки) утратил свой колорит, став Impassible, что означает «непроходимый». Гавань Трех Святителей на Кадьяке обратилась в Three Saints Harbour, хотя *святой* и *святитель* — не синонимы. Не сохранилось в топонимике прилагательное *русский*, оно существует только в английском переводе — Russian. Один из двух десятков подобных топонимов, правда, обязанный своим появлением американцам, — Russian Gardens (Русские огороды) — мы обнаруживаем близ Сент-Майкла (бывший Редут Св. Михаила), почти у полярного круга, где сохранились «следы былой культивации почвы» (Орт), свидетельствующие о раннем беспримерном продвижении земледелия на крайний север Аляски.

Любопытна судьба названия Бухта Опасная (Афогнак). Американцы переименовали ее в 1935 году в Kazakof Bay, а соседнему мысу дали имя Казаков, возможно, по бытовавшему названию или в честь служивых людей Сибири — казаков, сыгравших важную роль в выходе России к Восточному океану. Отметим, что слово *казак* стало на алеутском языке термином для обозначения белого человека вообще.

Как ни странно, но топоним American Bay (залив на острове Долл) оказался русским по происхождению: название «Американская бухта» дал ему в свое время капитан Российско-Американской кампании Эголин. При переводах не обошлось и без явных недоразумений. Так, Cold Bay (иногда Frozen Bay) появился как перевод русского названия — бухты Морозова (Морозовская).

При выявлении русского субстрата местных названий приходится подчас сталкиваться с коварными «ловушками», ведущими по ложному следу. Многие эскимосские, алеутские и индейские топонимы так похожи на русские слова, что появляется неодолимое желание взять их на заметку. Но потом оказывается, что по-русски звучащий Turik уместно переводится с эскимосского как «жижина»; Sivuchek (холм), просившийся в «родственники» к слову *сивучий*, переводится «острый, заостренный»; kulik и kulak также оказываются «инородцами». Лишь условно можно приписать название острова в группе Чисвелл — Matushka за русское, на чем настаивает Орт, но, зная весьма сходный туземный топоним mata-puska (близ вершины залива Кука), мы вправе думать, что имеем дело с русификацией туземного названия. Пик и ледник в районе Якутат носит название Yaga, происхождение которого не известно. Может, опять только «опасное сходство»? Но здесь длительный срок проживали, промыслили, торговали и даже сооружали суда русские люди, так что вероятность русского происхождения пока отвергать нельзя, как и в случае с названием ледника близ горы Св. Ильи — Krishna, о котором Орт осторожно и, может быть, ошибочно пишет: «вероятно тлинкитского происхождения».

Река, ледник и гора в массиве Св. Ильи носит название Nizina, сообщенное в 1892 году как индейское Nizzenah. Было ли оно усвоенным индейцами русским словом или превращено в созвучное русское слово *низина* позднее, когда через этот край хлынул поток «искателей счастья» и там в 1902 году обосновался лагерь старателей с таким названием, остается неясным. Может быть, тем же русским золотоискателям обязано своим появлением название местности, а затем железнодорожной станции близ реки Медной — Strelna, хотя считают, что оно дано индейцами атена.

По-видимому, остается известное количество таких названий, которые, несмотря на свой «эскимоидный» или «америндный» облик, могут оказаться русскими по происхождению. Ведь мы знаем о проникновении в языки алеутов и эскимосов западной Аляски множества русских слов: можно предполагать, что немало их проникло и в индейские языки. Но поиски подобных топонимов сложны и требуют знания туземных языков. Трудно узнать русское слово *рука* в эскимосском arkat, а в Men-puco-elatta! заподозрить церковное «многая лета!».

Многообразна и интересна топонимика Аляски, связанная с русской лексикой. В ней использован широкий круг русских прилагательных и существительных, даже есть наречия. Она отражает животный и растительный мир края, географическую терминологию, понятия, важные для мореходов. Топонимы точны и деловиты, иногда поэтичны, изредка имеют ласкательно-уменьшительную форму или проникнуты юмором. Встречаются архаизмы и провинциализмы, преимущественно поморские и сибирские.

Некоторое количество русских слов нанесено на карту Аляски путешественниками различных наций или службами США в процессе ликвидации топонимического «вакуума», в знак уважения к заслугам русских в открытии и исследовании края. Этот процесс начался в конце 1867 года и, как показывает словарь Орта, не прекращался до 1965 года.

Обзор русских топонимов, данных нерусскими, начнем с весьма забавного. В 1890 году геолог Руссел дал горам близ Якутата название *Samovar Hills* (Орт так разъяснил американцам значение этого слова: «прибор для подогревания воды для чая»). В 1928 году островку близ острова Якоби дали название *Mindalina*, «исходя из его формы». Скале в проливе Танага присвоили в 1934 году название *Chaika*. Кенайский национальный парк в 1963 году большой группе озер дал русские имена: *Gagara*, *Ootka* (Утка), *Sabaka*, *Egypten*, *Taiga* и *Tundra*. Последний топоним мы встречаем еще два раза (реки на севере Аляски и близ залива Кускоквим). Мыс на острове Чичагова по остаткам бывшего крушения не очень грамотно назвали в 1928 году *Razbitie*. Мыс на острове Св. Георгия, известный как Западный Конец, получил короткое, но неэквивалентное название *Dalnoi*. Канадский инженер Хантер назвал гору близ реки Стикин *Rynda* (колокольный звон на судах, отмечающий полдень) по кораблю Бассаргина, исследовавшего район. По залежам сланца мыс на острове Баранова в 1926 году назван *Aspid*. В 1933 году появился мыс *Yug* на острове Малая Кыска (группа Лисьих). У триангуляционного знака *Kelp* (морские водоросли), на острове Долл, мысу дали русский эквивалент этого слова — *Solyanka*.

Много русских географических терминов уцелело на карте Аляски.

На острове Баранова находим реку *Vodopad*, а неподалеку — мыс *Peresheek*. На острове Распберри (бывший Малиповый) видим мыс *Gori*, остров *Gornoi* — западнее острова Баранова. Мыс *Utes* есть на острове Атха, а островок *Utesistoi* — у Кадьяка. В национальном парке Глейшер-Бей гора именуется *Vulku*. Это искаженное слово *белки*, которым в Сибири называют вершины, покрытые снежниками и ледниками. Поморский термин *Kekur*, обозначающий

конусообразные скалы, возникающие в результате выветривания, использован в названиях четырех объектов, а мыс Kekugnoi сохранился на полуострове Аляски. У Ситки лежит остров Kogga — так поморы называли каменные островки и мели. Названия мыса Laida на Кадьяке и одноименные лагуна и коса на Кенае также происходят от поморского термина — названия прибрежной мели, обнажаемой при отливе. Озерской Редут на острове Баранова ныне именуют просто Redoubt, а его тезок — бухту, реку, мыс и вулкан — встречаем у основания полуострова Аляски. На Кодьяке мы видим реку Salonie, это, бесспорно, измененное русское слово *селение*, а не salon, как наивно предположил Орт; его тезка Selenie Lagoon — на Кенае.

Русскую Америку исследовали и заселяли мореходы и охотники на морского зверя. Их профессиональные наблюдения, часто с использованием поморских терминов, отражены во множестве сохранившихся топонимов. Так, на острове Атха есть мыс Potainikof. Орт ошибочно пишет, что название это дано потому, что в бурную погоду за ним спокойные воды и там можно отстояться. На самом деле поморский термин «потайник» означает 'подводный камень или мель, на которых во время волнения не образуется бур' — в этом «коварстве» смертельная опасность! Уверенно можно отстояться у острова Otstolia. Здесь же островок Povogotni, с одноименным мысом, антоним которого — мыс Nepovogotni — южнее. Географическая номенклатура помогает морякам, как указания лоции!

Русские штурманы также оставили профессиональные термины на карте Аляски: это селение Malka (Афогнак) — по подвижному угольнику, употреблявшемуся в прошлом для измерения и вычерчивания углов, и бухта Pelenga на Кадьяке (так был назван Мурашевым мыс, но американцы оставили название за бухтой, дав мысу равнозначное имя Azimuth). Немало топонимов связано с местами стоянки судов, например бухта Partov, остров Умнак (от Портовая).

В топонимике Аляски закреплен ряд имен русских кораблей. Здесь мы найдем и скалу Tsaritsa Rock, у Ситки, названную по имени судна, натолкнувшегося на нее; и островок Reshimosti (там же) по кораблю Ивана Васильева.

Названия растений в русских топонимах немногочисленны. Осталось лишь два острова Elovoi (у острова Баранова), да на острове Спрус миссия сохранила искаженное прежнее название острова — Elvoi. Близ острова Баранова существует и островок Sosnovoi. В архипелаге Александра пять островов и отмелей носят название Liesnoi. На Кадьяке встречаем мыс Talnik. Из многочисленных топонимов Sagana, по названию камчатской лилии с пур-

пурно-черными цветами, луковицы которой употребляют в пищу, осталось на Алеутах только пять. Мыс и река на Афогнаке сохранили русские названия Malina, а соседний остров — Малиновый теперь носит эквивалентное английское название Raspberrу.

В русской топонимике края хорошо представлен животный мир — млекопитающие, рыбы и птицы. Былая слава этих вод — морские бобры (каланы), поголовье которых сократилось, оставили следы на карте: мыс Bobrovoi (остров Баранова), Bobrovie горы (полуостров Аляска), остров Bobrof с одноименным вулканом (Андреяновские острова). Залив и поселок у оконечности Аляски именуется Morzhovoi. Видное место отведено китообразным. На острове Св. Павла есть лежбище Kitovi, у Ситки — остров Kita; залив и озеро Kitoi на Афогнаке, — возможно, тоже испорченное Китовый. По названию одного из видов китов (касаток) назван остров Kasatochi. Особенно повезло другому китообразному — белуге (белухе): у верховья залива Кука находим целый куст топонимов Beluga — селение, река, озеро, низменность, горный кряж, да еще есть озеро на Кенае и холм близ залива Бристоль.

Вероятно, от гольца (семейство лососевых) названы река и местность на юго-востоке залива Нортон — Golsovia (Орту была известна более верная транслитерация — Goltzovaia). Один из островов Павловых сохранил название Ukolnoi (Юкольный).

В царстве пернатых на морских просторах Аляски главенствует чайка. На почетном месте она и среди «птичьих» топонимов. У Ситки мы находим острова Chaichei. Близ залива Степовак — остров Chiachi, одноименная цепочка из пяти островов протянулась у южных берегов Аляски; мыс того же названия встречаем на острове Уэйл. На острове Св. Георгия есть озеро с ласковым русским именем Govogushka (один из видов обитающих здесь «болтливых» чаек). По одному из видов гаг на острове Спрус носит имя мыс Pestriak. По птице из отряда чистиков — старик или старичок — названы мели у острова Атха, мысы Starichkof на Уналяске и Кенае, где еще вблизи и река Stariski. По виду баклана (ныне «берингов баклан») назван на Унимаке залив Urilia и остров Urilof (у острова Баранова). Один топоним отведен и царю пернатых — Orel Anchozage в заливе острова Кую.

Интересны два названия на карте Аляски, происходящие от наречий: мыс на Кадьяке, в свое время именовавшийся Низменным, позднее был окрещен Dovolno, а наречие Kokovo уже более сотни лет используется для названия островка близ Баранова.

Богат список прилагательных, использованных в русской топонимике Аляски. Так, например, на юге полуострова Аляски видим название большого залива и реки — Jantarni. Встречается на американской карте и ласкательно-уменьшительное прилагательное

Uzinki — название мыса на острове Спрус, несколько измененное для деревни на том же острове, — Ouzinkie. У Кадьяка есть остров Uski, а на острове Китовом — мыс Uskosti (узкость — термин, применяемый моряками для узких частей проливов). Островок и скала в проливе Ситка, а также остров севернее носят название Makhnati, которое, возможно, отражает какую-то черту природы. Однако близким именем Мохнашка окрещен залив на Кадьяке, в 1000 километрах западнее. Эпитет *мохнатый* мог относиться не только к особенностям природы. (Заметим, например, что айнов — русские называли «мохнатыми курильцами», а на Алеутах и материковой части северо-запада Америки отмечено проникновение айнов.) Может показаться, что название Zolotoi для пляжа (и залива) на острове Св. Павла дано иронически: ведь южный берег Св. Павла далеко не южный берег Крыма. Но есть сведения, что эпитет *Золотая* был дан бухте из-за обилия морских бобров, охота на которых была баснословно прибыльной.

Во многих топонимах содержатся признаки объектов, важных для мореходов, — например, Залив Mielkoi (остров Баранова) или остров Otmeloi (Якутат) с одноименным мысом на Кадьяке. Название залива Otkriti (остров Агатту) сигнализирует, что он неблагоприятен для стоянки судов. Две скалы (у Умнака и острова Адмиралтейства) носят название Polivnoi Rock, говорящее о том, что они лежат близко под поверхностью моря.

Немало названий отражает положение объекта. Назовем Blizhni Point (близ Якутата), два мыса Posledni на Афогнаке, остров Sasedni (у Ситки), мысы Seredni на Кадьяке и Кыске, а на последнем и одноименная бухта, мыс Seredka на острове Акун (острова Крепицына). Широко распространены топонимы, отражающие расположение объектов по отношению к странам света: Zapadni мыс и лежбище на острове Св. Павла, там же Vostochnie (лежбище), мыс Zapadni на острове Спрус, Zapad Head на острове Сегула (Андреевские), мыс Juzhni на острове Китовом (у Кадьяка) и др.

Спектр цветных эпитетов ограничен: Bieli Rock (у Ситки), мыс Krasni (Атту), два острова Чернобурых. Один из последних значит-ся под прежним именем — Chernabura (Шумагинские), а другому — Chernaboog, лежащему в 90 милях северо-восточнее, средп рифов Сандмен, в 1936 году, чтобы не путал моряков, дали родственное имя Cherni (Черный).

Сейчас наиболее распространено прилагательное Tolstoi, и хотя много подобных топонимов исчезло, это имя носит четырнадцать объектов, в том числе шесть мысов. Антоним Tonki ограничен: мыс на острове Св. Павла, мыс, полуостров и залив на Афогнаке. Выжило полдюжины топонимов Dolgoi: остров с одноименными гаванью и мысом в группе Павловых, острова в заливе Якутат и близ острова

Принца Уэльского, а также озеро на острове Лонг (бывшем Долгом, у Кадьяка). Топоним Sukhoi встречаем для залива и лагуны на Кадьяке, а в иной передаче — Sukoі — для залива и группы из трех островов в архипелаге Александра, мысе на острове Круза и заливе на полуострове Аляска. Применение эпитета *сухой* для заливов достаточно курьезно, но, может быть, оно оправдано тем, что при отливе большая акватория заливов обсыхает или в них вообще не обеспечены достаточные глубины. Месторождение точильного камня обеспечило за мысом на Аляске название Tachilni. На Баранове мыс и залив именуется Nismeni, а остров в группе Семичи и бухта на нем — Nizki. Антоним встречаем у островка близ Кадьяка, который величают Viesoki, хотя его высота скромная (750 футов), а у Баранова небольшая скала именуется Viesokoi. Любопытно, что гора Verstovia, близ Ситки, 150 лет назад названная так Иваном Васильевым, имеет высоту 1006 метров, лишь немногим менее версты (1067 метров).

Алеуты богаты лугами, южная материковая часть Аляски — лесами, поэтому обращают на себя внимание острова без леса или растительности. Появились топонимы Goloi для островов в группе Парлова и вблизи Ситки, Pustoi для острова у Умнака и Virublenni (там же). Один из четырех действующих вулканов на Умнаке и ручей, берущий начало на ее склоне, сохранили самобытное, красочное название Pogomni, а остров и вулкан на нем в группе островов Деларова — название Garelai, в котором тоже отражено явление извержения вулкана. Островок в группе Неккера, близ Баранова, сейчас предложено именовать Golovni (Головной), хотя Иван Васильев дал ему имя Голомянной. По Далю, *голомя* — ‘открытое море’, что, вероятно, и имел в виду Васильев, но *голомя* — ‘налет, удар ветра’, откуда консультанты Орта и толкуют это название как Breeze Island (остров Бриза). За «Старой Гаванью» на Уналяске ныне закреплено причудливое сочетание — Staraya Bay.

Русские слова на современной карте Аляски, как и запечатленные здесь же многочисленные имена русских людей, отражают выдающиеся заслуги русских в открытии, исследовании и колонизации северо-запада Америки. От Ледовитого океана и до северной Калифорнии увековечены русские слова и имена на географической карте.

Приводим в заключение небольшой словарик, содержащий некоторые географические названия, попавшие на карту Аляски из русского языка. После каждого названия в скобках отмечается слово, от которого оно происходит.

- Archangel** (архангел) ручей
Aspid (аспид) мыс
Bamdoroshni (подорожный) остров
Bidarka (байдарка) остров
Bidarkin (байдарка) мыс
Bolshoi (большой) острова
Bukti (бухта) мыс
Burunof (бурун) мыс
Chasovina (часовня) бухта
Darenoi (дареный) залив
Dirovati (дыроватый) залив
Dolina (долина) мыс
Goltsovi (гольцовый) мыс
Gorbotch (горбач) мыс
Kamenisti (каменистый) скала, озеро
Kamenoj (каменный) остров, мыс
Karab (корабль) залив
Kirbas (карбас) остров
Kliuchef (ключ) гора
Konets Head (конец) мыс
Kovrizhka (коврижка) мыс
Kresta (крест) мыс
Krestof (крест) остров
Krishka (крышка) остров
Kriwoj (кривой) остров
Krugloj (круглый) мыс, острова
Krutoj (крутой) остров
Krysi (крысий) пролив, мыс
Leto (лето) мыс
Lietnikof (летник) бухта, поселение
Lisa (лиса) мыс, озеро
Litnik (летник) долина, гора
Medvejie (медвежье) озеро
Mogilnoj (могильный) остров
Morskoi (морской) скала
Nachalni (начальный) мыс
Nadezhda (надежда) остров
Nochlega (ночлег) мыс
Opasni (опасный) мыс
Ostrof (остров) мыс
Ostrovka (островка) мыс
Otrubistoi (отрубистый) мыс
Perenosa (перенос) мыс, залив
Perevalnie (перевальный) остров, пролив
Peschani (песчаный) мыс
Podsorochni (подсопочный) мыс
Pogibshi (погибший) мыс
Pogoreshapka (испорченное «гагарья» шапка) деревня
Pokati (покатый) мыс
Polka (полка) полуостров, скала
Polovina (половина) озеро, мелл, лежбище, холм
Poperechnoi (поперечный) остров
Popovitch (попович) ручей
Prokoda, Prokhoda (проход) остров, мыс
Prolewy (пролив) мыс, скалы
Promisla (промысел) мыс
Rakof (рак) залив
Rokovoi (раковый) залив
Reche shnoi (речной) вулкан
Rukavitsie (рукавицы) мыс
Seldevoe (сельдевое) озеро
Semisorochnoi (семисопочный) остров
Shapka (шапка) остров
Siroi (сырой) мыс
Sobaka (собака) скала
Soloma (солома) мыс
Staraya Artil (старая артель) лежбище
Starri Gavan Bay (старый) залив
Struya (струя) мыс
Sushilna (сушильня) остров
Sushilnoj (сушильный) остров
Svidlak (светляк) островок
Swedania (свидание) мыс
Trava (трава) мыс
Tuman (туман) полуостров, мыс
Uglovaia (угловая) деревня
Ulitka (улитка) мыс, залив
Ustia (устье) мыс
Vodopoini (водопойный) мыс
Vorota (ворота) остров
Zaimka (заимка) хребет
Zaliva (залив) мыс
Zhilo (жилье) населенный пункт
Zimovia (зимовье) пролив, группа островов, мыс

С. Р. ВАРШАВСКИЙ,

действительный член Географического общества СССР



ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ

Русский язык постоянно пополняется иноязычными словами-заимствованиями. В новое время (XIX—XX века) основной источник этого пополнения — международный словарный фонд, интернациональная лексика, проникающая в русский язык книжным путем, преимущественно через научную терминологию. Эта чрезвычайно богатая и разветвленная область лексики, без которой в сущности немыслимо было бы развитие мировой науки и техники, строится почти исключительно на латинских и древнегреческих корнях.

Но русский язык — «дальний родственник» латинского и греческого. Вместе с такими языками, как, например, немецкий, английский, французский и все другие современные германские, романские, славянские, как языки литовский, древнеиндийский, армянский и т. д., они принадлежат к большому семейству индоевропейских языков. На протяжении многих веков своего развития языки эти далеко отошли друг от друга, так что многие черты их родства можно вскрыть лишь после специальных сравнительно-исторических исследований.

Однако сохранилось некоторое количество слов, которые и до сих пор звучат сходно в разных индоевропейских языках. Например, в латинском слове *mater*, древнегреческом *mētēr*, немецком *Mutter*, французском *mère*, литовском *mōte* мы легко узнаем родичей нашего русского слова *мать* (основа косвенных падежей и множественного числа — *матер-*: матери, матерью). Русское слово *три* (числительное) близко по звучанию к латинскому *trēs*, древнегреческому *treîs* и *tria*, английскому *three*, французскому *trois*, а порядковое числительное *третий* — к

древнегреческому *tritos* (то же). Древнегреческое *dómos* и латинское *domus* очень похожи на русское слово *дом*; древнеиндейское *pávas* и латинское *novus* — на русское *новый*; английское *sister* — на русское *сестра*; русское слово *нос* близко к латинскому *nāsus* и немецкому *Nase*, а глагол *мешать* (в значении 'смешивать, перемешивать') — к немецкому *mischen*, английскому *mix*, латинскому *miscere*. Во всех этих случаях звуковое сходство слов, обозначающих в языках одно и то же понятие, не случайно, и объясняется исконным родством языков.

Этому родству мы обязаны тем, что некоторые латинские и греческие корни, попавшие в русский язык в составе иноязычных заимствований — главным образом в интернациональных словах, совпадают или почти совпадают в звучании с корнями, выделяющимися в исконных русских словах. Такие заимствованные слова, встречаясь со своими дальними русскими родственниками, благодаря сходству их звучания и значения, сближаются с ними, воспринимаются как однокоренные, пополняют словообразовательные гнезда исконных русских слов. Но при всем том они сохраняют в русском языке ряд черт, обличающих их иноязычность, «выдают себя» своим поведением.

Интересно приглядеться поближе к некоторым из этих знакомых русскому языку «незнакомцев».



Телевидение, телевизионный, видеосвязь

В 30-х годах текущего столетия в русском языке появилось слово *телевидение*. Закреплению его в языке предшествовала борьба между синонимичными терминами *телевидение*, *телевизия* и *дальновидение* (или *дальневидение*). Они соперничали за право называть новый вид техники — передачу изображений на расстояние. Образцом для соответствующего русского названия был интернациональный термин, образованный путем соединения древнегреческого слова *tēle* 'далеко' с латинским *visio* 'способность видеть, зрение' (существительным от глагола *video, vidi, visum, videre* 'видеть'). В английском языке этот международный термин отражен в виде *television*, во французском — как *televisé*. Наиболее точная прямая передача его дала бы в русском языке слово *телевизия*. Оно, кстати, закрепилось в других славянских языках:

ср. польское *telewizja*, чешское *televise*, болгарское *телевизия*. В русском сначала тоже появилось слово *телевизия* (в первых изданиях советского «Словаря иностранных слов», в «Толковом словаре» под редакцией Д. Н. Ушакова оно приводится как равноправный вариант наряду с *телевидение*), а прилагательное от этого слова — *телевизионный* — прочно закрепилось в языке.

Но самому названию технической отрасли не суждено было закрепиться в форме *телевизия*. Тогда же, в 30-х годах, были предприняты попытки передать этот термин путем калькирования — перевода по частям с помощью русских корней. Получилось слово *дальновидение* или *дальневидение* (последний вариант был вызван, по-видимому, «отталкиванием» от старого прилагательного *дальновидный*, имевшего совсем другой смысл); этот термин также отражен в Словаре Ушакова. В дальнейшем от калькированного термина удержалась лишь вторая часть, первая же была восстановлена в своем греческом виде. Так возник наш теперешний термин *телевидение*. Он удобен тем, что первой своей частью входит в ряд терминов с общим значением «осуществляемый на расстоянии» (телеграф, телефон, телеконтроль, телеуправление и т. п.), а второй частью непосредственно связывается с русским словом *видение* (действие по глаголу *видеть*; ср. также старое сложное слово *ясновидение*).

Образование прилагательных от существительных на *-ение* в русском языке затруднено; поэтому в качестве относительного прилагательного от *телевидение* сохранилось слово *телевизионный* (образованное первоначально от *телевизия*). Это прилагательное благодаря звуковой близости русского корня *вид-* и латинского *viz-* воспринимается ныне как производное от *телевидение*; к тому же оно близко по звучанию родственному слову *телевизор*, закрепившемуся в русском языке в его интернациональной огласовке (образовано оно от латинского *visum* — причастия от глагола *video*): ср. английское *televisor*, французское *televiseur*, польское *telewizor* и т. д.

В результате гнездо слов с корнем глагола *видеть* обогатилось в русском языке новыми словами. Но в родственных словах *телевидение* — *телевизионный* — *телевизор* наблюдается необычная для русского языка мена согласных (мягкий звук *д* заменяется звуком *з* — мягким или твердым), представляющая собой элемент латинского чередования и выдающая иноязычность этих слов.

На этом история в русском языке технических терминов, относящихся к «видению на расстоянии», не заканчивается. Значительно позже, в 50-х годах, в интернациональной терминологии появляются термины, обозначающие новые виды технических устройств, связанных с передачей изображения на расстояние. В этих терминах используется в качестве первого корневого компонента уже элемент *video-*, восходящий непосредственно к форме 1-го лица единственного числа латинского глагола *video* 'вижу'. В русском языке он представлен в таких новейших терминах, как *видеозапись, видеосвязь, видеомагнитофон, видеотелефон*; из них лишь два последних есть в новом, шестом издании «Словаря иностранных слов» (1964). Эти термины тянут за собой новые нити, связывающие на русской почве латинский корень глагола *video* с русским глагольным корнем *-вид-*: со словами *видеть, вид, видение, телевидение*. Звуковая близость их здесь особенно отчетлива; однако иноязычность элемента *video-* в русском языке обнаруживается в необычном звучании конечной части этого элемента (твердый согласный *д* перед гласным *е* и последующее сочетание гласных *ео* не характерны для исконно русских слов). Впрочем, в живом произношении в словах, начинающихся на *video-*, согласный *д* часто смягчается, что еще больше обнаруживает стремление сблизить их с русским словом *видеть*.

Еще важнее другое: в словах с первым компонентом *video-* лексическое значение этого корневого компонента уже, конкретнее, чем значение русского глагольного корня *-вид-*: если последний обозначает зрительное восприятие, видение вообще, то первый — только видение, зрительное наблюдение, осуществляемое на расстоянии. Тот элемент значения, который в слове *телевидение* представлен особым корнем *теле-*, здесь (в словах с первой частью *video-*) концентрируется вместе с элементом значения 'видение' в том же *video-*. Эта смысловая специфика несколько обособляет в русском языке группу слов типа *видеосвязь, видеомагнитофон* от всех прочих образований с корнем *-вид-*.

Остается добавить, что само слово *телевидение* стало в недавнее время образцом для создания таких слов, как *космовидение* ('телевизионная связь космоса с Землей') и названия международных телевизионных систем Интервидение и Евровидение, передающиеся в других европейских языках словами на *-vision*: *Intervision, Eurovision*.



Мы называем *новаторами* людей, вносящих и осуществляющих в своей сфере деятельности новые, прогрессивные принципы, идеи, приемы. Слово это проникло в русский язык книжным путем еще в прошлом веке (в словари впервые попало лишь в 30-х годах XX века) и, наряду с производными словами *новаторский*, *новаторство*, прочно вошло в наш повседневный речевой обиход. Некоторые, возможно, уже не ощущают, что оно иностранное: настолько тесна и несомненна его связь с русским словом *новый*. А между тем слово это — латинское *novator* 'обновитель', от прилагательного *novus* 'новый'.

В большей степени ощущается нами иноязычность слова *новация*. Объясняется это тем, что оно употребляется только в книжной, «ученой» речи. Источник его — латинское *novatio* 'обновление, изменение'. Слову *новация* не повезло: в словарях его либо не приводят совсем, либо указывают для него только специальное юридическое значение — 'прекращение обязательства по соглашению сторон путем замены его новым обязательством' (Словарь иностранных слов). Однако *новация* — слово, довольно широко используемое в нашей науке и публицистике в смысле 'новшество'. Это значение, сформулированное несколько уже — 'нововведение', мы найдем лишь в 17-томном академическом Словаре. Вот пример такого употребления в современном языке: «Неожиданная и смелая новация формы [у Вс. Вишневского] была продиктована идейной и художественной задачей автора» (Гончаров. Мерой жизни. — «Литературная газета», 1970, № 16). Языковеды сейчас нередко пользуются термином *новация* для обозначения новейших явлений, возникающих в языке.

Есть ли у слов *новатор* и *новация* черты, позволяющие говорить об их необычности для русского языка? Да, есть: это их словообразовательные связи. Суффиксы *-ация* и *-атор* очень продуктивны в современном русском языке, в особенности в сочетаниях с иноязычными основами. Наиболее продуктивен тип образования существительных с этими суффиксами от глаголов, чаще всего на *-ировать*, *-овать* (реставрировать — реставрация и реставратор, организовать — организация и организатор, эвакуировать — эвакуация, арендовать — арендатор и т. п.); кроме того, слова на *-атор*, хотя и редко, выступают иногда как

производные от существительных (империя — император, триумф — триумфатор, плантация — плантатор, инициатива — инициатор и некоторые другие). Но совсем нехарактерны для русского языка образования с суффиксами *-ация* и *-атор* от прилагательных. Слова *новация* и *новатор*, связываемые непосредственно с прилагательным *новый*, с этой точки зрения в русском языке уникальны, что и подтверждается их происхождением.



Станция

Очень широкое, разветвленное гнездо слов образуют в современном русском языке глагол *стать* (стану) и производные от него *становиться*, *остановиться*. Заметную группу в этом гнезде составляют отглагольные существительные с корнем *-стан-*, обозначающие, как правило, место остановки, временного пребывания кого-либо. Сюда относятся такие старинные русские слова с различными суффиксами и без них, как *стан* (в значении 'лагерь'), *становье*, *становище*, устарелое *станок* ('почтовая или ямская станция на востоке России', в диалектах — вообще 'место для отдыха в пути'); само слово *остановка*; *пристань* и *пристанище*, связанные непосредственно с производным глаголом *пристать* (пристану).

Среди них обращает на себя внимание слово *станция*. По значению оно относится к приведенной группе слов; корень в нем, несомненно, тот же, однако суффикс — для русских слов совершенно необычный. Суффикс *-ция-* (после согласного) выделяется в русском языке всего лишь в нескольких словах явно иностранного происхождения (все они — производные от глаголов на *-ировать*), к тому же обозначающих книжные, специальные, отвлеченные понятия, например: *абстракция*, *адсорбция*, *редукция* (ср.: *абстрагировать*, *адсорбировать*, *редуцировать*). Слово *станция* с его бытовым, конкретным значением и широко распространенным русским корнем к приведенному ряду не относится.

Причина этого — в происхождении слова. Оно не было исконно русским, а попало в русский язык в начале XVIII века, в эпоху Петра I, непосредственно из польского языка. Польское *stancja* (ныне устарелое), обозначавшее первоначально вообще место, помещенье, где можно остановиться для отдыха, в свою очередь было заимствовано из

среднелатинского источника, восходящего в конечном счете к латинскому глаголу *sto, stāre* 'стоять, останавливаться'. Как видим, первоначальный латинский корень этого слова подобен родственному русскому корню глаголов *стать* (стану), *становиться*. Поэтому в русском языке слово *станция*, естественно, сразу вошло в гнездо исконных русских слов с корнем *-стан-*.

Интересно, что не характерный для русского языка суффикс *-циj-* был устранен из этого слова при образовании производного от него *полустанок* 'небольшая железнодорожная станция', которое возникло в XIX веке и впервые отмечено в Словаре Даля.



Триада, трио, трилогия и другие

В русский язык в разные периоды его истории проникло довольно много иностранных слов с греческим (реже — латинским) корнем числительного 'три'. Слова эти, обозначающие предметы и явления, так или иначе связанные по своему значению с числом 3, воспринимаются на почве русского языка как родственные исконному русскому числительному. Вот лишь некоторые из этих слов, представляющих собой по преимуществу научные и технические термины:

Триада 'единство трех предметов' — от греческого *triás*, родительный падеж *triádos* (то же).

Трилогия 'три литературных или музыкальных произведения одного автора, объединенные общим замыслом и преемственностью сюжета' — от греческого *tri-* 'три' (в сложных словах) и *lógos* 'слово, рассказ'.

Трибом (в математике) 'трехчлен' — от греческого *tri-* и *pómos* 'часть, отдел'.

Трио 'музыкальное произведение для трех инструментов или трех голосов'; 'ансамбль из трех исполнителей' — от итальянского *trio* (то же).

Триплан 'самолет с тремя поддерживающими поверхностями' — от греческого *tri-* и латинского *planum* 'плоскость'.

Триптих 'живописная композиция из трех частей' — от греческого *tríptychos* 'тройной'.

Трифтонг 'сочетание трех гласных звуков в одном слого' — от греческого *tri-* и *phthóngos* 'звук'.

Конечная часть основы таких слов, остающаяся по отсечении корня *три-*, представляет собой либо единичный, выделяющийся в русском языке только в одном данном слове элемент (например *-о* в слове *трио*); либо малоупотребительный суффикс, встречающийся еще в нескольких словах (суффикс *-ад(а)* со значением совокупности одинаковых предметов можно выделить, кроме слова *триада*, еще в словах *аркада* 'ряд арок' и *колоннада* 'ряд колонн'); либо, чаще всего, связанный (то есть выделяющийся только в словах данной структуры) компонент сложных слов. Так, компонент *-логия* того же значения, что и в слове *трилогия*, содержится в словах *диалогия* и *тетралогия*; компонент *-ном* — в словах *бином* и *полином*, *-план* — в *моноплан* и *биплан*, *-птих* — в слове *диптих*, *-фтонг* — в *дифтонг*, *монофтонг*. В этом-то и состоит «иноязычность» таких слов в русском языке: если сложные слова с исконным русским компонентом *тре-* или *трех-* входят в ряд одноструктурных образований с исконными же русскими корнями числительных — компонентами *одно-*, *дву-* и *двух-*, *четырёх-*, *много-* и т. п. (ср., например: треугольник и четырехугольник; трехэтажный и одноэтажный, двухэтажный, многоэтажный), то греко-латинский по происхождению компонент *три-* параллелен в сложных словах таким связанным иноязычным компонентам, как *би-* (латинское *bi-* — в сложных словах 'двух-'), *ди-* (греческое *di-* 'двух-'), *моно-* (от латинского *monos* 'один, единственный'), *тетра-* (греческое *tetra-* 'четырёх-'), *поли-* (греческое *poly-* 'много-').

Таким образом, слова с греко-латинскими корнями, совпадающими (или почти совпадающими) по звучанию и значению с исконными русскими корнями, обнаруживают так или иначе в русском языке свою необычность. То они характеризуются непривычным для русского языка чередованием (телевидение — телевизионный, телевизор), то более узким, специальным значением (слова с компонентом *видео-*), то выделяются необычностью своих словообразовательных связей (новатор, новация), наличием в их составе малопродуктивных и связанных иноязычных морфем (*станция*, слова с компонентом *три-*) и т. д. Но вместе с тем, попадая в русский язык и вступая в контакт с исконными русскими корнями, они пополняют и расширяют словообразовательные гнезда русских слов.

В. В. ЛОПАТИН



БРОДЯЧИЕ СЛОВА

В словарном составе любого языка обычно довольно много слов, заимствованных из других языков. Исконных слов иногда бывает даже меньше. Так, в современном английском около 75 процентов всех употребляемых слов по происхождению французские и латинские. Около трех четвертей всех корейских слов — тоже заимствования, главным образом из китайского.

Русский язык в течение многовековой истории значительно обогатил свой словарный состав за счет заимствований, хотя их количество и не столь велико, как, например, в английском. К сожалению, точных подсчетов количества заимствованных слов в русском языке никто не делал.

Самые разнообразные языки внесли свой вклад в лексику русского языка. Некоторые старые заимствования настолько хорошо прижились в нем, что их иноязычное происхождение не чувствуется совершенно и обнаруживается только с помощью специального лингвистического анализа. Например, русское слово *парус* восходит к древнегреческому *pháros* (фáрос) с тем же значением; слово *жéмчуг* заимствовано из тюркского языка торков, которые поселились на южной окраине Древней Руси и приняли впоследствии язык своих соседей, но оставили в нем не-

сколько слов. Заимствованное слово *лошадь* употребляется в некоторых случаях даже чаще, чем исконное славянское *конь*.

Другая часть заимствованных слов еще не утратила признаков иноязычного облика, так что каждый русский человек легко узнает в них нерусское по происхождению слово. Они часто отличаются от исконных слов и старых заимствований наличием редких звуков и звукосочетаний, своими орфографическими особенностями. Подобные слова принято называть иностранными. Они довольно часто нуждаются в пояснениях, так как относятся к специальной научной и технической терминологии. Для этой цели создаются особые словари иностранных слов.

Многие понятия и предметы, которые не были известны ни в древней Греции, ни в Риме, получают в наше время наименования, основанные на греческих и латинских корнях. Это не случайно, ибо греческий и латинский языки, связанные с культурой античности, имеют высокий культурно-исторический престиж. Знание классических языков и в наше время характерно для культурных людей во многих странах, поэтому греко-латинские слова легко входят в современные языки. Даже такое новейшее понятие, как *космодром*, получило название, «сложенное» из древнегреческих корней. Греческие и латинские корни имеют названия многих старых и новых наук.

Интернациональные слова распространяются через научно-технические и общественно-политические издания преимущественно письменным путем, поэтому они изменяются незначительно при переходе в разные языки. Впрочем, интернациональными могут становиться и слова, заимствованные у народов, не имеющих высокого культурно-исторического престижа, языки которых не пользуются большой популярностью за пределами территории своего основного распространения. Часто это названия каких-то местных своеобразных продуктов, первоначально экзотических, а впоследствии получивших широкое распространение вместе с названием. Именно таким образом во многие языки проникли из языков американских индейцев слова *томат*, *шоколад*, *какао*. Из малозначительных в культурном отношении языков могут заимствоваться также названия местных животных, растений, обычаев и т. п. Например, те же языки американских индейцев дали всему миру названия животных: пума, ягуар, гуанако, лама, опоссум.

Наряду с широко распространенными книжными, письменными, встречаются и устные заимствования, которые воспринимаются не всегда точно и иногда довольно сильно искажаются при передаче.

Во многие языки Европы, вероятно, во время тридцатилетней войны (1618—1648) проникло из языка маленького северного финно-угорского народа — саамов (или лопарей) слово *гамашш*; через немецкое или французское посредство оно вошло и в русский язык. В самом саамском языке это слово звучало *гáмас* или *кáмас*: так саамские оленеводы называли полосы шкуры, снятые с ног оленя и употребляющиеся на подбой лыж, на обувь и рукавицы. Изделия из оленьего камаса отличались особой прочностью и носили то же название — *камасы*. Еще до вхождения в русский язык названия *гамашш* в нем употреблялось как термин оленеводства, кожевенного и обувного дела саамское слово *камасы*, хорошо известное на севере. Оно употребляется, например, в небольшой поэме И. Уткина «Якуты» как экзотическое слово:

Как же мне, кыс [девушка] из большого наслега,
Новые камосы спить?

Если слово *камасы*, непосредственно заимствованное из саамского языка, почти не изменило своего звукового облика и значения, то слово *гамашш*, прошедшее по пути к нам через ряд европейских языков, значительно изменилось и по звучанию и по значению. Но все же и в нем осталось нечто общее, благодаря чему можно узнать, что *гамашш* и *камасы* восходят к одному слову. Подробнее об истории этих слов можно прочитать в журнале «Русская речь» (1970, № 3).

Названия, подобные *камасам* и *гамашам*, обычно распространяются вместе с предметами, которые они называют, а при устном заимствовании фонетический облик слова и значение зачастую претерпевают изменения. Это так называемые «бродячие слова», существующие во многих языках мира. Они легко переходят из языка в язык как устным, так и письменным путем и становятся международным достоянием. Они также образуют своеобразный интернациональный фонд слов, широко распространенных в родственных и неродственных языках, по-своему отражая усиление экономических и культурных связей между народами.

Часто бывает так, что на новой почве заимствующего языка слово сохраняется гораздо лучше, чем в языке, из которого оно заимствовано. Такие примеры можно привести из русско-чувашских языковых взаимодействий. Предки русских и чувашей имели давние связи, о которых мы узнаем уже из старейшей русской летописи — «Повести временных лет». Под 985 годом в летописи рассказывается о походе русских под предводительством князя Владимира в Волжскую Булгарию, которую населяли предки современных народов Волго-Камья, в том числе и чувашей, — болгары, говорившие на древнечувашском языке. Об этом походе летопись сохранила такие сведения: «Иде Володимеръ на болгары съ Добрыною съ воемъ [оуем — дядей] в лодьях. а торьки [народ, говоривший на каком-то тюркском языке] берегомъ приведе на коних. и побѣди бол(г)ары [булгар] реч(е) Добрына Володимеру. съглядахъ колодникъ [смотрел пленных] иже суть вси в сапозѣх. сим дани нам не даяти [эти нам дань платить не будут] поидемъ искать лапотниковъ. и створи миръ Володимеръ съ болгары. и ротъ заходиша [клялись] межю собѣ. и рѣша [сказали] болгаре. толи не будетъ межю нами мира. елико камень начнетъ плавати а хмель почнетъ тонути. и приде Володимеръ Киеву».

Добрыню поразила богатая обувь болгар. Из других источников нам известно, что выделанные в Булгарии кожи и изделия из нее славились на средневековых рынках. Не случайно поэтому во многих языках из старинного названия древних волжско-камских болгар получилось наименование особо выделанной кожи — юфти или сафьяна. Оно восходит, вероятно, к арабизированной форме прилагательного *бүлгäри* и отмечено в языках: казахском *былғары*, каракалпакском *былғары*, алтайском *булгайры*, узбекском *булғори*, уйгурском *булғар*, бурятском *булгайр*, монгольском *булгаар*, киргизском *булгаары* и др. Известно это слово и в русских диалектах в виде *болгарá*, *болгáр*, *булгар(а)*, как это видно из третьего выпуска «Словаря русских народных говоров», выходящего в издательстве «Наука».

Как память о былой славе волжско-булгарских изделий из кожи, в русском языке до сих пор употребляется также название легких сапожек без каблуков на мягкой подошве, похожих на чулки из кожи — ичигп или ичиги. В современном чувашском этого древнего болгар-

ского слова уже нет; оно было вытеснено словом *атá*, происходящим из другого древнего болгарского говора. Оба слова *ичиг* и *атá* принадлежали к разным диалектам, а происходят они от одного древнего тюркского *этик*, сохранившегося до сих пор в татарском и башкирском названии сапога *итек*, ногайском *этик*. В результате исторических звуковых изменений тюркское *этик* превратилось в разных болгарских диалектах в *атá* (слово осталось в современном чувашском языке в значении 'сапог') и *ичиг* (его чувашаи уже давно не употребляют, однако оно сохранилось в русском языке как памятник древних болгарско-русских языковых связей).

Русское слово *чулок* тоже было заимствовано из болгарского, когда оно там звучало еще как *чулка́* с ударением на конечном слоге. Чулки всегда составляют пару, а в древнерусском было специальное двойственное число, грамматически выраженное у слов мужского рода с помощью ударного окончания *-á* (ср. названия парных предметов *глаза́*, *бока́*, *берега́*, которые с исчезновением двойственного числа стали пониматься как множественное). Болгарское название парного предмета *чулка́* древние русские поняли как двойственное число и сделали от него единственное — *чулок* и множественное — *чулки*. Хотя грамматически древнечувашское слово в русском языке изменилось довольно сильно, но зато в нем лучше, чем в современном чувашском, сохранилось старинное звучание этого слова: ср. современное чувашское *чáлла*, где древнее *у* изменилось в звук *á*, произносимый близко к русскому безударному *а* в словах *травяной*, *рыбка*, а звук *к* превратился в *х*. Такие древние чувашские заимствования в русском языке дают ценный материал по истории звуков чувашского языка.

Чувашское название гриба *кáмпа* взято предками современных чувашей из древнего русского языка. В современном русском это слово сохранилось только в диалектах в виде *губа* со значением 'гриб' да в производном от него названии пористого вещества — *губка*. В чувашском слове произошли звуковые замены: *г* изменилось в глухой *к*, а *б* оглушилось в полувзвонкий *п*, но зато чувашский язык хорошо сохранил древнейшее русское произношение корневого гласного. Дело в том, что русский гласный *у* в слове *губа* происходит из так называемого носового гласного, который получился в результате слияния гласного звука *о* с носовым согласным *м* (или *н*). Древнейший

вид русского слова был *го^лба, а еще более древний *гомба. В русском языке не осталось никаких следов носового характера корневого гласного звука, а в чувашском этот признак сохранился довольно хорошо.

По заимствованным словам можно изучать не только культурно-исторические связи народов, но и историю языков, на которых эти народы говорят. Звуковой состав различных языков неодинаков. При переходе из одного языка в другой звуковой облик слова несколько видоизменяется, приспособляясь к фонетике заимствующего языка. По этим изменениям можно узнавать, какой из народов заимствовал слово.

Интересна история греческого *syndokeion* (сюндокэйон). Это слово давно было заимствовано арабами, в литературном языке которых оно имеет вид *сундук* и, как в греческом языке, значит 'сундук, ящик'. В народной арабской речи два гласных звука *y* (краткий и долгий) испытывали расподобление и первый из них — краткий *y* — был заменен звуком *a*. Эта народная арабская форма слова — *сандук* — попала с тем же значением к персам. Персидское существительное *сандук* было заимствовано почти всеми тюркскими языками: турецким, татарским, казахским, узбекским, уйгурским и другими. Некоторые тюркские языки сохранили звучание слова, полученного от персов: например в современном уйгурском и в старинном чагатайском оно произносится *сандук*; другие тюркские языки — татарский, казахский, турецкий и т. д. — заменили гласный *y* второго слога на *y*; отсюда и слово это звучит здесь *сандык*.

Современное чувашское *сунтӑх*, изменившее свое значение и обозначающее сейчас 'ящик стола' или 'шкафчик для посуды', раньше звучало **сандук* и имело то же значение, что и русское *сундук*. Это русское слово было заимствовано из древнечувашского (булгарского) в более позднее время, когда булгарский язык уже испытал изменение *a* в *y* в первом слоге. Русский язык и в данном случае дает нам сведения по истории чувашского языка: сопоставление древнечувашского (булгарского) **сандук*, русского *сундук* и современного чувашского *сунтӑх* указывает, в частности, что переход в чувашском *a* в *y* в начальном слоге предшествовал изменениям *y* в *ӓ* и *ж* в *х*.

Показания русского языка очень важны, ибо письменные памятники чувашского языка начинаются только с

XVIII века, а русского языка — с XI. Правда, слово *сундук* в русских памятниках известно с XVI века, но в конце XIII — начале XIV века оно встречается в памятнике половецкого языка «Codex Supanicus» в формах *сундук* и *сындук*. В половецкий язык оно тоже, по-видимому, попало из болгарского. Несколько позже из верхового (окающего) диалекта чувашского языка слово *сунтах* попало в марийский язык в виде *шондык*, причем замена *с* на *ш* произошла уже в марийском языке. Удмуртское *сандык* заимствовано из татарского языка, где это слово звучит *сандык*. Относительно коми-зырянского и эрзя-мордовского *сундук* и мансийского *сундук*, *сунтак* трудно сказать определенно, заимствованы ли они одновременно с русским *сундук* из болгарского (древнечувашского) источника или являются новыми заимствованиями из русского языка.

Бродячие слова дают сведения не только по истории языков, которые обмениваются ими, но и рассказывают об истории народов, говорящих на этих языках. Так, широкое распространение в языках Поволжья названия ящичка, сундука в болгарско-чувашской огласовке очень ярко показывает большую культурно-историческую роль Волжско-Камской Булгарии в эпоху раннего средневековья в Восточной Европе.

Изучение «бродячих» слов дает историкам большой дополнительный материал, который пока еще используется недостаточно. «Бродячие» слова испытывают иногда прямо-таки настоящие одиссеи, так что сопоставления кажутся на первый взгляд просто невероятными. Например древнее чувашское название головного убора появилось в русском языке с XVI века и звучало при этом *шлык*. Оно употреблялось еще в прошлом веке как название старинной колпакообразной шапки русских крестьян. Вспомним строки из поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»:

Кажись, нет ходу крестного,
А словно пред иконами
Без шапок мужики.
Такая уж сторонущка!
Гляди, куда деваются
Крестьянские шлыки.

На этом примере хорошо виден основной закон изменения значений при заимствовании. Если чувашское слово

сёлёк, *ёслёк* обозначает любую шапку, любой головной убор, то в русском языке так называлась только колпакообразная шапка, возможно, распространившаяся от чувашей. Следовательно, при заимствовании значение слова чаще всего сужается. Из чувашского это слово проникло также в марийский — *ислык* и в среднеазиатские тюркские языки, где у него также изменилось значение. В современном узбекском словом *желак* (произносится — джеляк) называется короткое женское покрывало наподобие паранджи с рукавами и украшениями; это переходная между головным убором и одеждой часть женского костюма. В других языках это слово обозначает часть одежды. Пройдя через турецкий, арабский, испанский и французский, это самое слово в конце XVIII века вторично вошло в русский язык как *жилет*. Трудно даже представить, что *жилет* и *шлык* восходят к одному общему источнику.

Наш русский вместе с другими славянскими языками не только заимствовал слова, но и сам был источником обогащения других языков. Так, славянское *коляска* через немецкое посредство (*Kalesche*) проникло уже в XVII веке во французский, где оно звучит *calèche* [калеш]. Во многих европейских языках употребительно русское *степь*. Особенно много славянских слов обнаруживается в немецком языке, куда проникли такие слова: хомут, бич, граница, крупа, сметана, творог, хрен, блин, водка, печать, соболь, стерлядь, самовар, рубль, копейка, тройка, гусли и др. Правда, в немецком и других западноевропейских языках подобные слова подвергались иногда значительным преобразованиям: так, наше *граница* немцы преобразовали в *Grenze* [грэнцэ], а *плотва*, *плотца* — в *Plötze* [плётце], поэтому их не всегда легко узнать.

Проникали русские слова и в восточные языки. Здесь особенно интересна судьба слова *бревно*, которое существует в современном арабском в виде *мўрйна* 'балка, бревно'. Первоначальную его звуковую обработку произвели кыпчаки-половцы, долгое время жившие в степях Северного Причерноморья; в их языке оно стало звучать так, как звучит и сейчас у родственных им казахов — *бёрёнё* (орфографически — бөрене), но к арабам слово попало из такого половецкого диалекта, в котором начальный звук *б* изменился в *м*. После нашествия татар много половцев

оказалось в Египте и Сирии, куда они и занесли искаженное русское слово.

Иногда ушедшее из нашего языка слово возвращается в новом, иностранном облике. Так было с немецким *кварц* [Quarz], которое от немцев обратно попало к славянам, хотя по происхождению является немецкой переделкой славянского корня *твердый, твердь*. Действительно, кварц — весьма твердый минерал.

Русское слово *грип*, побывав некоторое время во французском, вернулось снова в русский язык настоящим иностранцем. Выглядит оно теперь как *грипп* и даже пишется подобно иностранцам с двумя *n* на конце, хотя произносится лишь одно. Более раннее написание *грип* было ближе к русскому произношению этого слова. Впрочем, некоторые лингвисты считают, что французское *grippe* происходит от немецкого слова со значением 'хватать' и не связано с русским.

Еще более превратна была судьба славянского *пищаль*, которое первоначально обозначало только музыкальный инструмент — дудку, трубу. Потом так стали называть длинное огнестрельное малокалиберное орудие. Именно с этим метафорическим значением термин *пищаль* попал в итальянский, немецкий и французский языки, где он подвергся дальнейшим изменениям. Впоследствии уже значительно преобразованная *пищаль* вернулась к нам в виде *пистоль* или с французским уменьшительным суффиксом *пистолет*.

«Бродячие» слова имеют свою особую, часто весьма прихотливую судьбу. За каждым таким словом кроется маленькая, но поучительная страничка человеческой истории, и языковеды читают эти странички, дополняя ими сведения, содержащиеся в лаконичных старинных летописях. Каждое слово может много рассказать о событиях, свидетелем которых оно было,— стоит только к нему внимательней присмотреться.

И. Г. ДОБРОДОМОВ

В заголовке использована
буквица (Д) из памятника
XV века

О ПОДГОТОВКЕ К VII МЕЖДУНАРОДНОМУ СЪЕЗДУ СЛАВИСТОВ

С 30 августа по 5 сентября 1970 года в г. Хельсинки по приглашению Финляндского комитета славистов проходило XII пленарное совещание Международного комитета славистов (МКС), в котором приняли участие слависты Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, ГДР, Голландии, Дании, Канады, Норвегии, Польши, Румынии, СССР, США, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции, Югославии. В состав советской делегации входили член МКС, первый заместитель председателя Советского комитета славистов (СКС) член-корреспондент АН СССР В. И. Борковский (руководитель делегации), член МКС, председатель Украинского комитета славистов академик АН УССР И. К. Белодед, заместитель предсе-

дателя СКС член-корреспондент АН СССР Д. Ф. Марков, ответственный ученый секретарь СКС доктор филологических наук А. Н. Робинсон. Основной задачей совещания МКС была разработка научной тематики VII Международного съезда славистов, который намечено провести в Варшаве в 1973 году. Совещание МКС обсудило соответствующие предложения национальных комитетов славистов и утвердило публикуемую ниже тематику предстоящего съезда славистов.

Советский комитет славистов приступил к отбору тем докладов, предназначенных для съезда славистов, которые выдвигаются научными учреждениями и высшими учебными заведениями согласно утвержденной тематике съезда.

ТЕМАТИКА VII МЕЖДУНАРОДНОГО СЪЕЗДА СЛАВИСТОВ ВАРШАВА, 1973 г.

I. Языкознание

1. Праславянский язык как гипотетическое системное целое, направления его эволюции в отдельных славянских языках (учитывая в особенности близкородственные языки).

2. История формирования славянских литературных язы-

ков с учетом в особенности иноязычных элементов, в первую очередь — элементов греко-латинских.

3. Вопросы языкового родства в свете сравнительной диалектологии.

4. Характеристика лексических и морфологических

средств славянских языков с точки зрения их семантической, синтаксической и стилистической функции.

5. Динамика развития славянских литературных языков со второй половины XVIII века с социолингвистической точки зрения.

6. Актуальные проблемы лексикологии в связи с этимологией и словообразованием в плане формальном и семантическом с синхронической и диахронической точек зрения.

II. Литературоведение

1. Романтизм в славянских литературах (главная тема).

а) Изучение романтизма в славянских странах в сравнительном плане (в области литератур славянских и неславянских);

б) Современные методы интерпретации романтизма в связи с общественно-национальной жизнью в славянских странах;

в) Значение литературы просвещения и предромантизма в славянских странах (наследие просвещения в эволюции литературы XIX века в славянских странах);

г) Традиция романтизма в позднейшие периоды развития славянских литератур.

2. Методология сравнительного изучения славянских литератур; проблемы создания сравнительной истории славянских литератур:

а) Типологическая структура древних славянских литератур.

б) Проблемы сравнительного изучения славянского и европейского эпоса периода средневековья и периода нового времени.

в) Специфические аспекты сравнительного изучения современных славянских литератур.

3. Основные направления в славянских литературах XX века в их развитии и соотношении.

III. Литературно-лингвистические проблемы

1. Вопросы семантической и формальной структуры текста.

2. Историческая поэтика и другие родственные дисциплины (интерпретация текста, текстология, версология и терминология).

3. Системы стилей и их функции в литературе и литературном языке со сравнительной точки зрения.

4. Вопросы литературного перевода в пределах славянских языков и на славянские языки в эпоху романтизма.

IV. Фольклористика

1. Роль романтизма в изучении славянского фольклора.

2. Закономерности развития современного фольклора и славянской народной культуры: роль инновации и традиционной славянской культуры в жизни современных славянских народов; городской фольклор и его влияние на художественную литературу.

3. Связи фольклора славянского с неславянским.

V. Общеславистические исторические проблемы

1. Вопросы этногенеза и первоначальной общности славян: тенденции центростремительные и центробежные (до эпохи образования славянских национальных государств).

2. Общественные, культурные и научные связи славянских народов в XVI—XIX веках. Возникновение научной славистики.

3. Значение национально-освободительных движений славян в XIX—XX веках для развития славянской культуры.

НАРОДНЫЕ

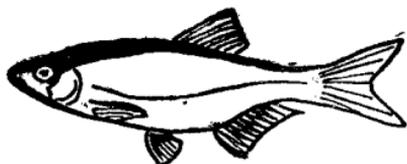


НАЗВАНИЯ РЫБ

(Продолжение.)

Начало в № 5, 6, 1970)

Уклейка (*Alburnus alburnus*). *Бакла*, *баклейка* Яросл.; Горьк.: р. Кудьма; Урал: рр. Уфа, Белая. *Баклейшка* Волга: Саратов; Урал: рр. Белая, Уфа. *Баклей* Владим.; Горьк.: р. Кудьма; Урал: р. Уфа; Волга выше Саратова. *Бакля* Горьк.: р. Кудьма; Урал: рр. Уфа, Белая: Оренб. *Башклей* ТатАССР: Казан. *Башклейка* Владим.; ТатАССР. *Башклей* ТатАССР: рр. Волга, Бахта, Меша, Большая Кокшага, Свияга. *Беловлазка* Оренб. *Быстринка* юг европ. части РСФСР; р. Кама. *Башкаль*, *вйшкол*, *вйшколок* Белое оз. *Верховка*, *верховод-*

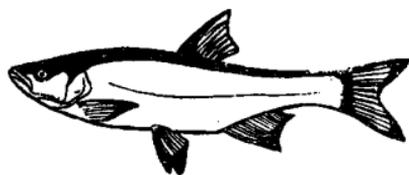


ка Калин.; Моск.: Серпухов; Кур.: Льгов; Орл.: Ока. *Верхоплавка* Новг.: р. Сясь; Яросл. *Гармак* р. Урал. *Дергунец*

Астрах. *Живец* Днепр. *Калинка* Пенз. *Килька* Кама. *Клейка* Пск. *Конюх* р. Урал. *Куклейка* Пенз. *Обманщица* ТатАССР: Казан. *Писарка* р. Кама. *Плотвичка*, *плотичка* Урал: Уфалей. *Саёшка*, *сайга* (мелк.) Горьк.: р. Теша. *Салака*, *салакушка*, *салака*, *салакушка* Ленингр.: вост. часть; Онежское оз. *Себёлик*, *себёль* Дон. *Сибиль* Кур.: Льгов. *Секюша*, *секюшка* Дон. *Селава*, *селява* р. Ловать, верх. Волга, оз. Селигер. *Сентя*, *сентявка*, *сентяга*, *сентяла*, *сентяпа* ТатАССР: рр. Сура, Свияга. *Сибиль* Смол.; Брян.; средн. теч. Десны; Кур.: рр. Сейм, Свапа; Дон. *Сикла* Калин.: верх. теч. Оки. *Синьга* Горьк.: р. Кудьма; Пенз. *Синька*, *синявка* ТатАССР: Волга. *Столбёц* Дон. *Стрежевая быстринка* Урал: рр. Кама, Чусовая. *Суклейка* Дон. *Табачница* ТатАССР: Казань. *Уклей* Пск.; Дон. *Уклеина* Пск.; Новг.; Калин. *Чебанчик* Волга, р. Самара. *Чеклей*, *шаклейка* Урал: Кудымкар, Чердынь. *Шаклей* р. Вятка; Урал: Кудымкар, Чердынь. *Шеклейка* Ильмень, Волхов. *Шеклей* Ильмень, Волхов, ТатАССР: рр. Бахта, Свияга, Большая Кокшага, Меша; Урал: Кудымкар. *Шеклей Шклей* р. Вятка. *Шеклейчик* Урал: Кудымкар. *Шеклей* верх. теч. Вятки, Волга выше Саратова, верх. теч. Камы.

Жерех (*Aspius aspius*). *Белезня* Смол.; Кур.: Льгов; р. Кубань. *Белезня* Кур.: Льгов. *Белес*, *белест* Смол.; Кур.: р. Сейм. *Белзна* Смол.: рр. Днепр, Сож, Ипуть, Остёр, средн. теч. Десны; Кур.: Льгов, р. Сейм; Орл.: Ока; Кубань, Азовское м.; Воронеж. *Белзна* нижн. теч. Дуная. *Белорыбица* Урал. *Белясь* Воронеж. *Гонёц* Тул.; Воронеж.: р. Хопёр. *Жерех*, *жерих* европ. часть РСФСР не совершеннее

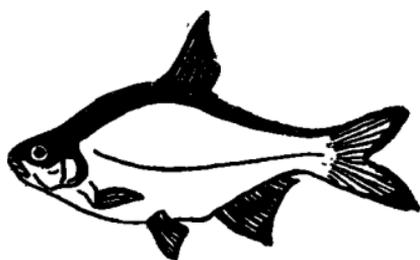
оз. Ильмень, р. Волхова и Белого оз., на восток до Урала. *Живостёр* р. Западная Двина. *Жирехá* Волга; Ульянов. *Кобьла* Волхов. *Конёк* Ильмень, Волхов; Смол.: рр. Сож, Ипуть, Остёр; Орл.: Ока; Волга выше Саратова; Урал: рр. Кама, Велена, Вишера, Кельтма, Колва, Чусовая, Урал, Белая, Уфа. *Коняга* Ока, Кама. *Нельма* Урал:



р. Сылва. *Палán* р. Шексна. *Распёр* Новг.: рр. Малый Тудёр, Ловать. *Сиг* Белое оз., рр. Ковжа, Кема, Шексна; Орл.: Ока. *Сигóвая мать* Волхов. *Сылвенская нельма* Урал: р. Сылва. *Хаюз* нижн. теч. Камы. *Череспёл* Ленингр.: р. Оредеж. *Чéрех* нижн. теч. Волги. *Черёха* Пск. *Шелеспер, шепёр, шéрепень, шереспёр* европ. часть РСФСР не севернее оз. Ильмень, южного Приладожья, на восток до Урала. *Шéрех* ТатАССР: рр. Цивиль, Большая Кокшага, Малый Черемшан, Меша. *Шпёр* ТатАССР: рр. Сура, Мокша.

Густерá (Влссá вюегкна). *Бербёрá* Пск. *Беребёйка* Яросл. *Беребёр, беребёра, беребрá, берберинка, беребрó, беребрóшка* Псковско-Чудское оз. *Быстерá* Горьк.: рр. Ветлуга, Кудьма; Урал.: рр. Кама, Уфа, Белая, Чусовая, Сылва. *Быстёря* р. Нарова. *Горбóль* Дон, нижн. теч. Волги. *Густерá, густерýна, густерýшка, густёрка* европ. часть РСФСР не севернее оз. Ильмень, р. Волхова; Кир.,

на восток до Урала. *Густёрь* вся Волга. *Гущерá* Пск.: южная часть. *Казóха* Переславское оз. *Калýнка* Пенз.: р. Сура. *Карзоха*. Переславское оз.; Владим. *Крэсня* Ока: Коломна. *Ласкёрик* нижн. теч. Дуная. *Ласкёрь* Волхов, Дон. *Лётка* р. Западная Двина. *Лискёрка* р. Терек. *Лопёрь, лупёрка* Владим.: р. Клязьма. *Лябóк* Белое оз. *Мóрга, мóрда, моржýнка* Псковско-Чудское оз. *Палтýга* Урал: рр. Кама, Уфа, Белая, Чусовая, Сылва. *Парýк, паричóк* КАССР: Онежское оз., Водлозеро; Арх.: рр. Онега, Пинега. *Перёбра* Пск. *Пéрестень* Белое оз. *Плоскёрка, плоскёря* юг европ. части РСФСР. *Плотвá* запад европ. части РСФСР; нижн. теч. Волги. *Подлещик* (мелк.) оз.



Онежское, Белое; Горьк.: р. Теша; ТатАССР: рр. Рутка, Большая Кокшага, Малый Черемшан, Меша, Шешма; Урал: рр. Кама, Белая, Уфа, Чусовая, Сылва. *Пóруга* Волог.: оз. Воже. *Рестá, рястá* Белое оз. *Талавёрка, таловёрка* Дон. *Тарабáшка* Онежское оз. *Тарáнь* нижн. теч. Волги; Урал.: рр. Кама, Белая, Уфа, Чусовая, Сылва. *Тарáшка* нижн. теч. Волги. *Терёха* Смол. *Чиклея* Урал. *Широкýша* Новг.: Валдайское оз.

(Продолжение в следующем номере)

Почта „Русской речи“



Дорогая редакция!

Большущее спасибо за журнал. Читаю «Русскую речь» с основания, и много было порывов написать Вам слова пылкой благодарности. Ан, все — недосуг.

Но сегодня меня сильно тронула статья Игоря Кобзева («Русская речь», 1970, № 3), и хочется поделиться кое-какими мыслями по этому поводу. Соглашаясь с ним, так сказать, в приливе откровенности.

Я пришел в писательство, воспитанный на фольклоре. На нашем заводе (Верх-Исетский металлургический, ему без малого 250 лет) в листокатальном цехе работа артельная, бригады собираются загодя, и перед сменой в раздевалке, в красном уголке первейшее наслаждение — послушать «беседливых старбелей». Там кто умеет ярко, богато рассказывать всякие истории, байки и побывальщины, — наипочитаемые люди. Мы, молодежь, ловили каждое сочное, необычное словцо, каждый выразительный словооборот, даже если это словотреп.

Повезло мне и в университете, где было повальное увлечение фольклором. Да и наш Урал — край такого смешения говоров, что невозможно общаться с людьми, не докапываясь до глубин языка, не впитывая словарный запас со всей России.

Но вот — моя первая книжка. Немудрящая повесть, писалась так, как рассказывалась бы друзьям-товарищам. А редактор («старейший, опытнейший, авторитетнейший») начал, по его выражению, «чистить, причесывать» мой стиль, приговаривая:

— Наши советские книги должны писаться таким языком, чтобы их легко можно было бы переводить на любой иностранный... Что — ваш Павел Бажов? Вон его «Огневушку-поскакушку» за границей издавали — мучались, пока перевели: «Солнечный зайчик»...

М-да-а. Его «Живинку в деле», слышно, до сих пор не перевели. Так разве это ему — в минус?

Долго не могла увидеть света другая моя книга. Застопорилась в закоулистых инстанциях столицы. Мытарствую, дошел до известного поэта, власть в СП СССР предрержащего и ставшего сановитым. Просил его помочь. Но он возразил:

— Говорят, фольклористо написано...

Я помню, очугунел от такого укора. Он ведь завет Максима Горького «Начало искусства слова — в фольклоре» слышал из его собственных уст.

И сколько раз на практике приходилось сталкиваться с тем, что редактор требовал убрать то или иное, живое, из текста, аргументируя железно:

— Такого слова нет, такого слова я не знаю.

Споришь:

— Неужто весь русский лексикон уместается в одной редакторской головушке?

— Ну, проверим по Ушакову.

А у Д. Н. Ушакова всего-то 85 тысяч слов в четырех томах, и половина — иноязычные.

Сейчас, слава жизни, издан семнадцатитомник, да еще и Ленинской премией отмечен. Словно окна распахнули в издательских конторах. Свежестью потянуло. Убедительные примеры из самых разных писателей. Однако же редакторы — те, кто воспитан кабинетно и малокнижно, — боятся сквозняков. «Не знаю, — говорят, — еще не видела». (За двадцать лет со времени выхода первого тома еще не дошло.)

По-моему, у нас годами велось: боролись за чистоту языка, а мерила не было. Вернее, придерживались одного критерия: абы попроще. Вот и дочистились до того, что (как подсчитали на машинах) словарный запас газеты — две тысячи слов, а у некоторых популярных писателей и того меньше. Все забраковали: Н. Лесков не поминается даже в учебниках по литературе, С. Сергеев-Ценский тоже не числится в списках знатоков русского языка.

Пример — и со словарем В. Даля. Владимир Ильич Ленин высоко его ценил, но мы об этом редко говорим. А вот А. М. Горький заметил как-то, что Даль устарел, — и это цитирует всяк, имеющий отношение к литературе, хотя, бывает, и в глаза не видел далевого словаря. Но ведь сам Алексей Максимович штудировал Даля весьма и весьма прилежно — можно посмотреть тома в его библиотеке: почти против каждого слова крыжик, крестик или точка. Конечно, когда его так досконально изучишь, не грех и заметить — устарел.

Борьба за чистоту — это не скоблеж, не отсекование «лишнего», не выхеривание всего смачного, самобытного. А изучение, собиранье, выработка, отковка, огранка, отделка языка по науке, по народной речи.

«Язык — стяг, дружину водит» — есть у В. Даля поговорка. А стяг не бывает из одного лишь внешнего очертания, контура, абриса. Стяг — всегда очень определен, содержателен, с отличкой от всех других.

Иногда же, читая в прессе статейки и статьи на разные темы, в том числе и литературные, да и иные художественные произведения, видишь две слишком крайние тенденции. Первая — это стремление сделать язык нейтрально выхолощенным, едва не до воляпюка, холодно отработанным, шибко чеканным. Таким, за которым не разобрать личности автора — ни его характера, ни вкуса.

ни мировоззрения, ни чувств. Вторая — это когда, наоборот, щеголяют народными (чаще — псевдонародными) речениями, злоупотребляют глухومانской лексикой — всовывают подчас то или иное слово без достаточного понимания его смысла. Примеров — сколько угодно. В первом случае скажут: «Она фактически являлась его незаконной супругой». Во втором — напишут: «Принаслотилась она ему нида плехой невенчанной» (краткости ради, чуть-чуть утрирую).

И многих авторов этих крайних направлений отличает убогое знание живого языка и сокровищ литературного, а также претензия создать «свой», «единственный, неповторимый» стиль на основе поверхностных знаний.

Поэтому хочется закончить сии порывисто высказанные соображения тем, с чего начал. Спасибо «Русской речи». Журнал для меня — и учеба и оружие. Как и многим моим уральским товарищам по работе, мне по душе стяг, под которым он споспешествует нашей отечественной литературе.

*Вадим Очеретин
Свердловск*

О тайнописи в языкознании

ДАВНО уже замечено, что чем крупнее ученый, чем больше его вклад в какую-либо отрасль знаний, тем проще он изъясняется, тем меньше манипулирует «модными словечками», тем реже включает в свое повествование непонятные массам читателей термины. Взять, к примеру, виднейших русских языковедов В. А. Богородицкого, С. П. Обнорского, А. М. Пешковского, Ф. Ф. Фортунатова и многих, многих других — как просто и понятно они излагали свои мысли!

Но в последние десятилетия некоторые наши русисты перешли на какой-то воляпюк, непонятный миллионной армии учителей школ, преподавателей вузов, студентов. А ведь это их читатели. Для кого же уважаемые товарищи пишут, не друг для друга же?

Вполне понятно, что терминология любой отрасли науки постоянно пополняется, улучшается, совершенствуется, но нельзя же превращать термин в элемент тайнописи, в магическую формулу и оглушать читателей лошадиными дозами таких терминов. Конечно, могут возразить, что существуют словари лингвистических терминов, но разве русский язык так обеднел и его языковедческая терминология настолько скудна, что невозможно выразить ни одной лингвистической идеи без оглядки на иностранные термины?

Автор этих строк спросил однажды у видного тюрколога, покойного И. А. Батманова, как он реагирует на игру в мудреные словечки некоторых наших лингвистов, академик ответил, что никак не реагирует — просто потому, что не понимает их!

Студенты филологических факультетов некоторых вузов считают общее языкознание самым трудным предметом. С чего бы это? Оказывается, не понимают они этого курса из-за недоступной терминологии.

Дело с этой терминологией доходит до курьезов. При подведении итогов научной работы кафедры русского языка одного из вузов Киргизии было предложено доценту Н. представить выполненную им научную годовую работу на рецензирование. В беседе со своими будущими рецензентами молодой ученый подчеркнул, что работу придется читать со словарем. На чтение со словарем рецензенты из-за занятости не дали согласия. Работа не была представлена в срок, так как автор занялся переводом ее на русский язык. Спрашивается, на каком языке была написана работа? Ведь это был труд по русскому языкознанию, сам автор — русский; единственный язык, которым он в совершенстве владеет, — русский — его родной язык!

Не пора ли умерить кокетничание с чуждыми терминами, и, вспомнив завет В. И. Ленина, «объявить войну коверканью русского языка»?

И. Н. Бажина,
доцент кафедры русского языка
Киргизского женского педагогического
института

Лажу пчел

В ЖУРНАЛЕ «Русская речь» (1969, № 5) опубликована статья Н. В. Поповой «Нижегородский диалект в повести М. Горького „Детство“». Между прочим, автор касается выражения *лажу пчел*, прозвучавшего в горьковской повести в беседе садовника с пчеловодом: «...лажу иногда

пчел без нарожника, то я не потею, не сержусь, поступаю около пчел как можно тише и не махаю руками». *Нарожником* здесь названа маска, сетка, надеваемая при уходе за пчелами. Отмечая необычное для литературного языка употребление глагольной формы *лажу* с одушевленным существительным, Н. В. Попова соотносит ее с глаголом *ладить* в значении «приводить в порядок, в исправное, годное к употреблению состояние». Однако *лажу* в подобных случаях могло соотноситься и с глаголом *лазить* и ныне разговорным *лазать*: *лазать пчел* — «подрезать ульи, брать мед» (Даль); *лазить* — «вынимать мед из ульев. Лазить пчел» (Словарь церковнославянского и русского языка. 1847 — с пометой «простонародное»).

Выражение *лазать пчел* идет из глубины веков. В старину медовый промысел был бортевым. *Бортю* называлось душлистое дерево, в котором водились пчелы, и душло в дереве, специально выдолбленное для роя пчел. Когда взбирались к борти, расположенной высоко на дереве, применяли особое приспособление — так называемое *лезево* (от древнерусского *лѣзти*).

В минувшем веке у русских оно еще бытовало; в Словаре В. И. Даля читаем: *лезево* — «снаряд для лазанья по бортям». Подобное же приспособление при добыче меда диких пчел использовалось еще не так давно в Белоруссии. Состояло оно из веревки и дощечки-сиденья и служило для самоподъема бортника на дерево (см. об этом: В. В. Аношина, Н. В. Никончук. Полесская терминология пчеловодства. — В кн.: «Лексика Полесья». М., 1968). Сви-

детельства о нем сохраняют и памятники белорусской письменности XVI века.

В русских письменных памятниках упоминаний о лезеве не обнаружено, возможно, из-за наличия других названий бортовой снасти — слов *ужника* и *ужница* (ср. древнерусское *ужище* 'веревка'), но след выражения *лазати пчел* находим в «Русской Правде»: «оже боудуть бчелы не лажены...». Вот еще примеры из текстов XVII века: «мне бортнику мед лазить» (Акты юридические. III); «лазид де он Кошай... борть воровски» (Кунгурские акты). Глаголы *лазить* или *лазать* обладали и более широким значением: 'вообще доставать, добывать'. Ср. у Даля: залезть денег, хлеба — 'доставать, добыть'.

Когда со временем бортовой промысел уступил место пасечному, сменился пчеловодством с ульями, выражение *лазать (лажу) пчел* лишилось реального основания и все более теряло связь с глаголом *лазать* в его обычном значении, утрачивало ясность своего строения, или, как говорят языковеды, внутреннюю форму. Постепенно, оно превратилось в специально пчеловодческое и в виде *лажу пчел* могло осознаваться как связанное по смыслу с глаголом *ладить*.

Кстати отметим, что приспособление, подобное упомянутому лезеву, было в ходу и у других народов, например у башкир: «Абдразак... с детских лет занимается медовым промыслом. И сейчас, в свои восемьдесят лет, ходит в лес он с дымарем да с сеткой, взбирается на деревья при помощи одного лишь *керыма* — ремня из сыромятной кожи» (А. Платошкин. Медовые сосны. — «Правда», 5 октября, 1969).

И. С. Коткова
Москва

Что есть «квазиханжеская низость»?

гласны? — Нет, конечно! — с искренним возмущением воскликнул мистер Вандерлипп. — Не согласен! Это, как у русских говорят, прием кричать „Держи вора!“, когда сам украл и не знаешь, как скрыться. Кажется, так?

— Да, именно так! — с улыбкой заметил Ленин. — И я рад, что и в этом вопросе у нас с вами тоже полное единодушие. „Сваливать с больной головы на здоровую“ — это еще одна русская поговорка, — добавил он, усмехнувшись. И резко добавил: — Но поступать так нечестно и архиподло. Согласны?

— О, да! Это полностью очевидно!

— Квазиханжеская низость! — совсем ожесточенно добавил Ленин.

Так может клеветать на нас лишь лицемер из лицемеров, недобросовестный человек» и т. д.

Эта длинная цитата воспроизводит разговор, происходивший в октябре 1920 года в Москве между Лениным и калифорнийским миллионером Вандерлипом. Взята она из повести Дмитрия Еремина «Золотой пояс» («Литературная газета», 5 ноября 1969).

Хотелось бы обратить внимание автора и сотрудников «Литературной газеты» на «квазиханжескую низость» сторонников антикоммунизма. К сожалению, молодая Советская власть столкнулась не с мнимой, а самой что ни на есть настоящей низостью и подлостью своих врагов.

Для сведения автора и редакторов, видимо, просто необходимо привести еще одну небольшую выдержку: «Квази (лат. quasi) — приставка при различных словах, означающая 'якобы', 'мнимый', напр.: квазиученый» (Словарь иностранных слов. Под редакцией И. В. Лехипа и проф. Ф. Н. Петрова. М., 1954).

Теперь остается лишь сказать, что В. И. Ленин в более решительных, точных и ясных выражениях высказывал свое отношение к определенным действиям врагов социализма.

А. В. Исаев
Ашукинская
Московской области

О языке «Сельской жизни»

МАТЕРИАЛЫ «Сельской жизни» обращены к труженикам колхозной деревни. И газета очень правильно делает, что стремится писать не только доступным, но и близким им языком. В ее репортажах и очерках нередки разговорные интонации, обычные выражения.

«Таким способом нынче убрано свыше 40 тысяч гектаров»; «Краснохолмский район истари славится развитым льноводством» (все примеры взяты из ноябрьских номеров 1969 года).

Газета широко привлекает к авторству и самих читателей. В ней постоянно публикуются статьи и заметки за подписью доярок, трактористов, председателей колхозов. Подчас они написаны в форме откровенных душевных писем, и редакция бережно сохраняет их ясный и образный стиль. Вот как пишет, например, скотница Н. Семенова: «Далеко от Москвы моя родная деревня Поян-Сола. Она притулилась на берегу маленькой речушки Норда. За ней начинаются глухие марийские леса, где водятся лоси и медведи, барсуки и куницы. Скажете, глушь? Нет. Я не чувствую себя оторванной от большой жизни».

Но, к сожалению, язык газеты еще не свободен и от недостатков. Пожалуй, самая заметная погрешность газеты — это неправильное или небрежное употребление слов. Например: «Но было бы грубой ошибкой все представлять в розовом цвете» (надо: свете). Речь ведь идет не о перекрашивании из одного цвета в другой, а о том, в каком освещении преподносятся факты.

«Сегодня их эстафету продолжаем в труде...». Слово *эстафета* еще не потеряло значения предметности, поэтому можно передавать, нести, подхватить эстафету, но нельзя ее продолжать как некий процесс.

«Резко поднялся объем заготовок зерна не только в нашем совхозе». «Поднялся» — говорят об уровне, но объем может лишь увеличиваться. Неправильное истолкование привычных словосочетаний порою приводит к алогичности всего высказывания.

«В Марстройстресте (Марийская АССР) ввели в эксплуатацию цех для производства керамзитобетонных блоков». Дальше говорится, что керамзита для него нет до сих пор. «Печь там фактически только начали строить, и дело идет медленно», то есть цех еще не работает, поэтому нельзя говорить, что он введен в эксплуатацию. Этим автор противоречит собственной критике, — что не используются готовые производственные площади.

Есть здесь и некоторые «накладки» лаконизма. «Краткость — сестра таланта», — говорил Чехов. Но, стремясь предельно кратко выразить мысль, нельзя забывать, что прежде всего она должна быть изложена грамотно и доходчиво. «При этом хлеборобы стараются внедрить у себя опыт таких передовых хозяйств, как колхозы имени Ленина Казанковского, имени Кирова Вознесенского районов, где каждый гектар озими даст 28—32 центнера с гектара». И вышло довольно запутанно и двусмысленно. Во-первых, нехорошо звучат сочетания «имени Ленина Казанковского, имени Кирова Вознесенского». Этого можно было легко избежать, поместив названия районов в скобки «...имени Ленина (Казанковский район), имени Кирова (Вознесенский)».

Во-вторых, у автора получилось, что колхоз имени Ленина не один. А между тем совсем не обязательно было колхоз давать во множественном числе, ведь перед этим уже было сказано «таких передовых хозяйств», поэтому можно было спокойно продолжать: «...как колхоз имени Ленина..., имени Кирова...». Наконец, совершенно излишне было добавлять: 28—32 центнера будет получено с гектара. Увлеченный сокращением, автор забыл, что уже упомянул: такое количество зерна дает «каждый гектар озими».

А вот подпись под фото: «Во многих районах страны уже вышли на ледовую дорожку конькобежцы и хоккеисты, опробывают первую лыжную любители этого спорта». Здесь, тоже из-за желания быть кратким, автор создает смысловую нелепицу. Прежде всего, сомнительно, что и хоккеисты «вышли на ледовую дорожку», скорее всего — на ледовые поля. Но это были бы «лишние» слова! Поэтому автор «совместил» тех и других спортсменов. Но самое интересное он проделал с лыжниками. Он ухитрился их совсем не назвать, видимо, полагая, что и так поймут, о ком речь: есть «лыжня» и «этого» разве не достаточно?. Но ведь *лыжня* не вид спорта.

Есть в газете материалы, поражающие однообразием лексики. Так, в репортаже «По примеру передовиков», где рассказывается об уборке сахарной свеклы, в колонке, состоящей из 16 предложений, автор шесть раз повторил слово *корней* и дважды дал его в сочетаниях «сладких корней»: «свекловичных корней». Если пшут о хлопке, то это непременно *белое золото*, о чае — *зеленое золото*, о рисе — *белое золото*.

Можно было бы указать и еще на некоторые стилевые оплошности газеты. Однако в целом ее языковая культура достаточно высокая. Поэтому мы и надеемся, что сделанные нами замечания помогут редакции в ее работе над словом.

Л. В. Муковозов
Москва

Заметки о словах

ПРОЧИТАЛ в «Правде» и в «Русской речи» о том, что вскоре будет переиздаваться 4-томный Словарь русского языка, за ним последует работа над новым многотомным словарем. Может быть, для работающих над этими словарями представят некоторый интерес настоящие выписки.

Обустройство

Ни в орфографическом, ни в 17-томном словарях этого слова нет. Нет его даже у Даля. Почему? Оно существует давно и сохранило свое место в языке до сих пор:

«Сызначала насчет общего земельного нашего обустройства операцию сделаем...» (Златовратский. История одной деревни); «Это лишь один из примеров резкого удорожания обустройства...» (Передовая. «Известия», 28 сентября 1961).

В большом материале «Путешествие к феномену», написанном бригадой «Литературной газеты» из четырех человек, шесть раз употреблено слово *обустройство* и глагол *обустраиваться* (7 июня 1967); «...И чем уважительнее обустроена улица для удобств идущего по ней человека, тем дороже наказывать нарушителей» (Н. Атаров.— «Известия», 12 июля 1970); «То есть не только приспособляем к хозяйственному механизму страны, но заселяем, обустраиваем, обживаем (Ю. Апенченко.— «Правда», 9 декабря 1969).

Зга

В 17-томном Словаре о слове *зга* сказано: «Только в выражениях: не видать, не видеть зги, ни зги. Разговорное: ничего не видать из-за мрака, темноты». И приведены цитаты из Гоголя, Гончарова и Чехова.

Но есть и другие случаи употребления этого слова:

Из Евангеля вырвал я начисто
О милосерды страницы — и в згу:
На черта ли эти чудачества,

Если выполнить их не могу.

Шершеневич. Слезы кулак зажать
[так в оригинале, без предлога]

В студенческие годы я был очень удивлен, когда читавший нам курс современного русского языка профессор В. Ф. Чистяков, приведя выражение *не видно ни зги*, сказал, что ученые-лингвисты до сих пор не могут сойтись в толковании слова *зга*. Одни утверждают, что это колечко под дугой, к которому прикрепляется колокольчик, другие — это стезя, стезинки, трети — кроха, капля, искорка, вообще — самая малость чего-нибудь.

Я слово *зга* знал с детства. Оно для меня накрепко связано с загнеткой, тем местом в русской печи, куда загребают жар. Я хорошо помню, как, приподнявшись вечером вздуть огонь, наша соседка Танька Сорочка приходила в сумерки с горшком взять угольков и как моя бабка Марья, суровая хранительница домашнего огня, отчитывала ее:

— Ну какая ты хозяйка, если у тебя в загнетке к вечеру ни зги не остается!

— Тебе хорошо, — отвечала Сорочка, — у тебя дрова березовые, а у меня одна осина, да и то трухлявая. Какой из нее жар!

Но мне никогда не приходилось слышать, чтобы та же Сорочка, приходя одолжиться мучицей, сказала, что у нее в сусеке нет больше ни зги или что у детей с утра во рту зги не было. Однако она каждый раз повторяла, что нет зги во лбу у ее мужика Данилы.

Вот так в мою детскую душу и запала эта самая зга, эта искорка любви к исконному русскому слову. И когда при мне говорили: *загинул человек*, я сразу же представлял, что он затерялся, погас, как искорка в остывшей золе загнетки.

Я рассказал все это своему профессору, придя к нему сдавать зачет, и он тут же, не спрашивая больше ни о чем, поставил мне четверку, сказав, что на пятерку не знает современного русского языка и сам.

А ученые-лингвисты, видимо, так и не пришли к согласию в толковании этого, пришедшего к нам из вековых далей слова. Во всяком случае, в современных словарях нет даже и попытки объяснить его. И Ушаков, и Ожегов объясняют нам лишь смысл самого выражения «не видно ни зги» (Рыленков. Душа поэзии).

Уникальная невнимательность

В журнале «Русская речь» (1969, № 3) в обзоре газеты «Комсомольская правда» было обращено внимание на то, что газете особенно полюбилось слово *уникальный*, и она нередко пользуется им бездумно. Прошло полтора года. Опровержения не последовало, но и положение не изменилось: «Дунай — река уникальная»; «Мост — уникаму» (заголовок); «Машина — уникаму» (заголовок). В тексте: «Эта машина относится к числу уникальных... В нашей стране действует шесть таких машин». Шесть машин и каждая уникальная! «Запорожская тепловая станция уникальна!»; «В уникальном городе на сваях возле Баку открыт музей истории развития и разработки нефтяных камней...»; «Два десятка лет в большом спорте, в воротах классной команды — случай в своем роде уникальный». Как же перевести это на русский язык? Уникальный — значит «единственный в своем роде». Получается: случай в своем роде единственный в своем роде.

Обо всем этом полагалось бы писать в «Журналисте», его священная обязанность бороться со штампами, за правильность языка. Да, увы, такое встречается и в самом «Журналисте». Там пишут: уникальный в своем роде (1969, № 1, стр. 58) и даже «в анфас» (стр. 75).

Амбарный замок

Если заперто что-нибудь такое, чего не полагается запирать, то заперто непременно «на амбарный замок»: «На голубые качели очереди не бывает никогда. Они заперты на надежный амбарный замок...» («Комсомольская правда», 5 июля 1970). Очень устойчивый штамп.

Б. А. Медведев
Тбилиси

Ландыши, ландыши...

МНЕ нравится слушать ребятешек, только что научившихся говорить. Дети удивительно схватывают законы языка. Очень жалею, что не записывала те милые и, между прочим, очень образные словечки, которые придумывали мои дети, когда были грех-четырёхлетним. Мне запомнились лишь два таких словечка.

Однажды сын зовет меня к телевизору: «Мама, иди скорей, конькей показывают!». А в другой раз, увидев во дворе мальчишек с клюшками и коньками, кричит сестренке: «Вон конькеисты пошли!». Так они оба долгое время и говорили конькей вместо не совсем понятного хоккей, конькеисты — вместо хоккеисты.

Сын очень любит слушать сказки. Ему понравилась рассказанная мной сказка про мальчика Терешечку, которого Баба-Яга хотела зажарить в печке, но это ей никак не удавалось, потому что Терешечка хитрил, растопыривал ручки и ножки и в печь никак не пролезал. Тогда Баба-Яга, чтобы показать ему, как нужно сидеть на лопате, сжалась в комочек...

Так вот, через некоторое время слышу, как сын пересказывает сказку товарищу: «Тогда Баба-Яга *скомочилась*»... Удивительное словцо, не правда ли? «Скомочилась». Все правильно, по законам русской речи построено, хотя для нас, взрослых, может, и непривычно звучит. Зато как экономно и выразительно!

Хочу вступить в «Спор о русских именах», который время от времени ведется на страницах «Русской речи».

Имя, на мой взгляд, органически срастается с человеком. И если его называть по-другому, то, мне кажется, уже и человек другой. Это мне пришлось почувствовать очень хорошо, когда у меня родился третий ребенок. Как это часто бывает, еще задолго до рождения мы в семье называли его Тимкой. И старшие дети Лена (7 лет) и Алеша (5 лет) тоже так звали, готовили ему подарки. И мы все привыкли к тому, что у нас будет Тимка.

Когда же пришло время торжественной регистрации, отец вдруг предложил переменить имя. Потому что чуть ли не все знакомые и товарищи по работе, узнав, что мы хотим назвать сына Тимофеем, почему-то решили, что мы шутим, что за такое имя сын будет нас проклинать всю жизнь. Предлагали назвать то Сашей, то Сережей, то, на худой конец, Димой, но никак не Тимой.

Но почему? Дима, по-моему, грубее звучит, чем Тима. А Тима — и нежно, и мягко, и приятно. А как с этим именем хорошо сочетаются уменьшительно-ласкательные: Тимок, Тимочка, Тимоша, Тимошенька, Тимуля, Тимулечка. И просто Тимка. А для взрослого — Тимофей Анатольевич — вполне солидно. И отчество Тимофеевич, Тимофеевна не режет уха.

Мы долго листали справочник имен, перебирали одно за другим. Но никак не могли найти более подходящее нашему сыну, чем Тима. Наконец решили: пусть будет Вячеславом. Отец ушел в сельсовет, чтобы заменить записанное там имя Тимофей на Вячеслав. А я места себе не могла найти. Держу сына на руках, кормлю грудью, а чувство такое, будто потеряла ребенка, нет его у меня, понимаете? Это очень тяжелое чувство. Никак язык не поворачивается, чтобы Славиком назвать. Будто Тимочка — это один, вот этот маленький, любимый, а Славик — это уже кто-то другой, чу-

жой, незнакомый. Дети по-прежнему продолжают называть его Тимошкой. И отец вечером тоже не раз оговорился: «Будем покупать Тимку?», «Тимочкина игрушка»...

Еле-еле дотерпела до утра. Муж ушел на работу, а я в сельсовет. Хорошо, что там еще не исправили, не заменили свидетельство о рождении, выписанное на имя Тимофея. Отец тоже не выдержал, позвонил секретарю сельсовета, чтоб оставили прежнее имя. Так и зарегистрировали.

И ему очень идет это имя. И в детском садике ребятки, как увидят его, бегут к нему и зовут наперебой: «Тимоша!», «Тимуля!», «Тимочка!». Некоторые так мило картавят: «Тимоска-а!». Ни у кого больше нет такого имени у детей, пожалуй, во всем селе. Но я почему-то уверена, что и другие родители скоро будут так называть своих сыновей. Ребяткам из детсада имя это, во всяком случае, очень нравится.

А одна женщина, которая нянчила его, грудного, звала его Тимоней, Тимонечкой. И все приговаривала, что уж очень имечко-то у него хорошее. Так что, мне кажется, мы не ошиблись.

Конечно, имя выбрать — дело нелегкое и ответственное. Иной раз вот уж поистине удивляться приходится, о чем думали родители, давая имя ребенку. В том же детском садике слышу однажды, как ребята обращаются к девочке: «Ландыш, иди сюда!». Спрашиваю, почему ее так прозвали. Дети не могут объяснить. Так зовут ее, и все.

— А имя-то у нее какое?

Подошла воспитательница:

— Да это и есть ее имя. Так и в свидетельстве о рождении записано.

Названия цветов дают детям как имя, это не ново. Есть Розы, Лилии, я знаю одну Резеду. Это все женские названия цветов, и они подходят девочкам. Но Ландыш — мужского рода! И уж так скорей можно было бы мальчика назвать, но никак не девочку. Мы с воспитательницей только поудивлялись фантазии Ландышных (!?) родителей. Если имя Тимофей — обыкновенное русское имя — коробит некоторых, то что же говорить о Ландыше?

*Л. А. Климова,
ответственный секретарь редакции газеты
«По ленинскому пути» Шенталинского
района Куйбышевской области*

Не все прошлое — архаично

Перед Новым годом к соседке приехала из деревни бабушка. Помогая гостье снять овчинный тулуп, дочь обеспокоенным голосом говорила:

— Холод такой, а она — в до-
рогу.

Холод в самом деле был лютый. В те дни мороз доходил до 30.

Старушка, покряхтивая, споконно ответила:

— Ничего, сегодня пообмякло, да и ветер поредел.

Образность слов *пообмякло* и *поредел* (ветер) убедила нас, что сегодня теплее: не трещит мороз — пообмякло, нет вчерашнего плотного ветра. Он, хотя и дует, но не такой густой — поредел.

Образное слово... Иногда его, нужного, и придумать не придумаешь, «хоть проглоти перо», а на устах пожилых людей оно появляется естественно и почти всегда не из желания блеснуть, а в силу необходимости немногим сказать многое.

Случайно услышав эти слова о потеплении, я вдруг вспомнил одну свою командировку. Осенью в отдаленной деревне Ярославщины мне посчастливилось несколько дней «приобщаться» к народной творческой мудрости в области языка.

В разговоре со старшими по возрасту часто можно было услышать необыкновенно емкие слова и образные выражения. Вот пожилая женщина, рассказывая о своем сыне-домоседе, называет его *домарём*.

— Мой Витя, младший, — *домарь*, — говорит она, — не го, чтобы в город, в воскресенье клуб не навестит.

Зашла речь о тамошних дорогах и опять своего рода неологизм.

— Не дороги у нас — одни *нырки*, — поясняет собеседница. — Машина не успеет выкарабкаться из одной *пáдины*, как в другую летит (понимай: ныряет). И тут же добавляет: — С весны новую *стрúnят*. Шофера расцветут.

В этом *стрúnят* не только подразумевалась прямолинейность пути, но больше того, что-то приятное, ласковое, музыкальное, от чего улыбка расцветает.

Мужчина, приемщик, лет пятидесяти на вопрос: как идет с поля на склад картофель, ответил:

— Напористо!

Короче и яснее не скажешь.

Одним словом он дал понять и почувствовать, что хорошо на полях работают люди, что урожай отменный и как ему, приемщику, здесь достается. Только успевай разворачиваться.

Так незаметно в моем блокноте тогда появилось около полусотни впервые услышанных выражений и слов. Отдельные из них, по выражению Гоголя, кажутся ценнее предметов, которые они обозначают.

Вот слово *берегá*. Это берега ни реки, ни другого водоема. Это часть приусадебного участка, не занятого огородом и посевами, на котором растет трава. Словом *кóкша* называется орудие для рыхления земли; образовалось оно, видно, по аналогии со словом *кóкшить* 'бить, ударять'. *Зыбель* употребляется в значении 'трясина'.

Со временем отживают предметы домашнего обихода, отмирают понятия. Но порой их названия не исчезают, а продолжают служить для обозначения других новых явлений. В деревне я узнал, что медпункт здесь называют *лечéбничком*. Пожилому человеку в самом деле ближе слово *лечебничек*, чем современное *медпункт*. Почтовый ящик иногда называют *кружкой*. Название, видимо, перенесено с жестяного ящика со щелкой, называемого *кружкой*, использовавшегося в церкви для сбора пожертвований.

В речи сельских жителей часто можно услышать слова *сено*, *снег*, *мороз* в форме множественного числа: «А *сенá*-то нынче хорошие»; «Все льет да льет дождь, зимой поди *снегá* большие будут» или «Ух, какие *морозá* на Севере! Не то, что у нас».

Многие слова и формы слов, употребляемые в народных говорах, заслуживают внимания, а некоторые, по-видимому, достойны ранга общенародных и литературных. Сбор диалектной лексики по-

всеместно ведется студенческими экспедициями филологических факультетов педагогических институтов и университетов, а также специалистами. Диалектная лексика местных говоров является объектом научного исследования. Однако издание областных диалектных словарей ведется медленно. Отсюда понятно, что многие ценные слова, употребляемые в говорах отдельных районов, забываются, выходят из употребления и бесследно исчезают.

Большую помощь в сборе местной лексики могли бы оказать учащиеся старших классов сельских средних школ. Ведь старшеклассники порой проводят огромную и результативную работу по сбору материала для краеведческих уголков, для кабинетов биологии, географии и других. А почему бы научным центрам в областях, например, не призвать руководителей кружков и кружковцев записывать местные поговорки, пословицы или редко употребляемые слова. А такие слова при первой встрече обращают на себя внимание. И в этом убеждается каждый, кому хоть раз удавалось подметить или записать чуть-чуть необыкновенные слова.

Теперь большое внимание уделяется памятникам старины — свидетелям таланта и гения нашего народа. Не всякое прошлое — архаично и музейно. Среди ценностей старины много такого, чем мы можем гордиться. В этом отношении заслуживают внимания и языковые богатства. Уметь дорожить ими и разумно использовать их — долг каждого патриота русской культуры, в том числе и языковой культуры.

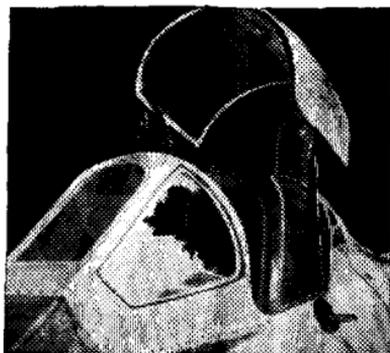
*А. Д. Стадуб
Ярославль*

От редакции. Многие языковеды-руссисты нашей страны занимаются сбором и публикацией материалов по лексике русских народных говоров.

За последние годы издано значительное количество областных словарей (трехтомник — в Томске, первый том Псковского словаря — в Ленинграде, первый том словаря говоров Среднего Урала — в Свердловске, словари русских старожильческих говоров — в Риге и в Красноярске и др.). В прошлом году в издательстве «Наука» вышел 6-й выпуск сводного «Словаря русских народных говоров». В Ярославском педагогическом институте большую работу ведет коллектив диалектологов во главе с профессором Г. Г. Мельниченко. Изданы «Краткий ярославский областной словарь» (Ярославль, 1961), целый ряд работ по лексике ярославских говоров.

Редакция «Русской речи» просит читателей направлять свои словарные записи в областные вузы, в которых ведется работа над словарями, в нашу редакцию или в словарный сектор Института русского языка АН СССР: Ленинград, В-164, Университетская наб., 5.

Рождение термина



птицестойкость, предлагаю конструкции, поврежденной при столкновении с птицей.

ОКОЛО четырех лет назад в обиходе авиационных специалистов появился новый термин *птицестойкость*. С каждым годом он все шире входит в речевую практику. Потребность в таком термине связана с возникновением проблемы столкновения летательных аппаратов с птицами и решением практических задач по созданию стойких к ударам птиц авиационных конструкций — двигателей, стекол, стабилизаторов и др.

Термин прост, в основе имеет русские слова, а потому легко усваивается и не нуждается в особых пояснениях. Надо полагать, что он займет соответствующее место в терминологических словарях и справочниках, подобно тому, как в свое время были признаны аналогичные по форме образования термины *жаростойкость*, *теплостойкость*, *вибростойкость*.

Чтобы яснее представить проблему, в связи с которой возник термин посмотрите фотоснимок авиационной конструкции, поврежденной при столкновении с птицей.

В. С. Лаврик,
инженер

Диспетчер — обеспечер

велось мне услышать удивившие меня слова, относящиеся к так называемой народной этимологии.

«Где тут у них *обеспечер*?» — выдохнула пожилая колхозница, опуская на пол тяжелую корзину. Речь шла, конечно, о диспетчере. Образовано это слово, несомненно, от глагола *обеспечивать*. Разве не метко, не ярко? Диспетчер ведь и в самом деле должен обеспечивать бесперебойную работу, в данном случае, автобусов.

В другой раз здесь диспетчера назвали *беспечером*. «Уж не от слова ли *беспечный*?» — подумалось мне тогда. Обстановка как раз вызвала такую ассоциацию: диспетчер в то время (да и не только в то!) не «обеспечивал» того, что он обязан обеспечивать.

Ю. М. Гордеев
с. Новопокровское
Саратовской области

Горе луковое

В № 3 журнала «Русская речь» (за 1970 год) в «Словаре эпитетов» на странице 121 к слову *горе* сказано: «Во фразеологическом выражении *горе луковое* (о незадачливом, нерасторопном человеке)».

А я, уроженец бывшей Курской губернии, проживший там до 25-летнего возраста (с 1900 по 1925), это сочетание слов *горе луковое* слышал со значением, которое, по моему мнению, не повторяет, а дополняет названную словарную статью. А именно: если потереть лук, да возле глаз, то из глаз потекут слезы. И ... человек «плачет». Но слезы-то «луковые», а не вызванные горем, не настоящие! Вот это словосочетание *горе луковое* и употреблялось тогда, когда нужно было уличить кого-то в лживом проявлении горя или в преувеличивании его, когда «до горя еще семь лет», как говорит поговорка.

П. А.

Трудное слово

ШУТКА

Мой дядя выяснял лет сорок,
И все же выяснить не мог —
Как говорить вернее: твóрог,
А, может, правильной — твóрог?!
И как-то он в молочной лавке
Его увидел на прилавке, —
Лицо, как роза, расцвело,
Решил купить он полкило.
Но тотчас, на прилавок глядя,
Опять задумался мой дядя:
«Ведь, вероятно, он не дорог,
Пойдет в ватрушки и в пирог...
Но как спросить-то: — почему твóрог?
А, может, правильной — твóрог?».
А в это время у прилавка
И шум, и очередь, и давка,
Но дядя дальше всех стоит
И сам с собою говорит:
«Н-да... Я к произношенью строг,
Не допускаю оговорок...
Но, как же, черт возьми, — твóрог,
А, может, правильное — твóрог?!».
Он на кассиршу посмотрел
И вновь вопрос и мыслей ворох.
«Ведь вот беда... Чтоб он сгорел!
Но кто сгорел — твóрог или твóрог?!».
Задачу эту смог решить
Мой дядя, лишь дойдя до кассы, —

Сказав: «Прошу вас получить
За подкило... творожной массы...».
Кассирша мало разбиралась
В местоименях, в падеже
И так сказала: «Не осталось,
Она распродана уже!..».

Вал. Громов
Москва

Поражение информацией

РАДИОСТАНЦИЯ «Маяк» вместо новостей передает теперь круглосуточно одну только «информацию», в газетах и журналах прекрасные фотографии помещаются под рубрикой «Фотоинформация», Мосгорсправка вывешивает на своих уличных щитах вместо традиционных приемов на работу» ...Слово стало модным.

Под влиянием этого потока «информации» и в бытовой речи можно теперь услышать: «Был вчера у приятеля, получил информацию...». Настоящий взрыв «информации», который, говоря языком военных, вызвал «массовое поражение» в нашей речи.

Н. К. Петров
Москва

Во глубине канцелярии

Бумажная гора росла. Через несколько дней издаётся приказ министра прмстрой-материалов республики Б. Паримбетова:

«...Для обеспечения хранения оборудования картоно-рубероидного завода согласно инструкции приказываю:

Управляющему трестом «Целинстройдеталь» Г. А. Забелину подготовить неиспользуемый цех Павлодарского ЖБИ-1 под временный склад. Для этого до 1 декабря 1969 года подвести и задействовать отопление указанного цеха, остеклить оконные проемы и установить ворота».

Печатая сей перл канцеляризма, «Комсомольская правда» (7 февраля 1970) приняла его, как нечто должное, не сопроводив даже восклицательным знаком в скобках, в данном случае весьма уместным.

Е. Г. Ромашков
Москва

Начнем с грамматики

МНЕ, работнику машинописного бюро, горестно видеть, как низок уровень знаний русского языка у специалистов самых различных областей науки, техники, у людей, имеющих высшее образование. Не отстают в этом отношении и педагоги, литераторы...

Редко, совсем редко попадается работа, в которой чувствовалось бы, что написана она человеком, стремящимся грамотно и четко выразить свою мысль.

В одном из писем к А. С. Суворину в 1890 году А. П. Чехов писал: «Наши гг. геологи, пхтнологи, зоологи и проч. ужасно необразованные люди. Пишут таким суконным языком, что не только скучно читать, но даже временами приходится фразы переделывать, чтобы понять...». Как ни печально утверждать, но спустя и три четверти века происходит то, чем возмущался великий знаток русского языка.

Аспирантка педагогического института в своей диссертации пишет:

«Таблица сравнения знаний цветов и оттенков детей».

А вот пример из диссертационной работы человека, претендующего на звание кандидата химических наук: «...различие в этих условиях обуславливается различным *малекулярным* весом...». Этот будущий кандидат так и не уразумел, что слово *молекула* требуется писать через *о*. А язык каков!

Очень «экономно» выражается экономист: «...совершенно закономерно вытекает *определение*, что производительность труда на *определенных* ступенях развития техники *определяется* совершенно *определенными* закономерностями».

Физик, словно он никогда не слышал о Фарадее, пишет *пикофорада*, с поражающей методичностью выводит *пароллельно* на каждой странице своего труда, не чувствует различия между *изоляционным* и *изолированным*. А допустимо ли, чтобы врач медицинской академии писал в своей работе: *патагинеz, альвиолы, видримия, осцилограф*.

Нет, не случайные описки я привожу здесь. Создается впечатление, что на грамотность ни на одном этапе работы с рукописью не обращают совершенно никакого внимания. Мне, например, непонятно, почему научные руководители смотрят сквозь пальцы на ошибки в диссертационных работах?! Неужели нельзя «подстегнуть» неучей?!

От грамотности людей, идущих в науку, зависит качественный рост наших научных работников, а следовательно, и всей нашей науки. Ведь как ни крути, а общая сумма знаний человека начинается именно с грамматики. Язык является основой любого произведения, любой научной работы, пренебрегать знанием его законов просто нельзя.

Н. В. Сторожев
Ленинград

Из одной минералогии

вался нашток богов; поэтому, уж если обращаться к мифологии, то следовало назвать печенье *амброзией* (пища богов). У А. И. Куприна в «Поединке» рассказывается об



одном генерале, который, уходя спать, говорил, что он идет в объятия Нептуна. И когда его поправляли: «Морфея. Ваше превосходительство?», он отвечал: «Э, все равно: из одной минералогии...».

А. Г. Кац
Саратов

Кто вкуснее?

«ОТЕЛЛО» — так называли торт, видимо, женщины, чтобы отомстить за Дездемону.

Мосторисполком
Главное управление общественного питания
Трест столовых Пролетарского р-на
Фабрика заготовочная
(Ленинская сл. д. 17)
Торт «ОТЕЛЛО»
Нетто — 1 кг.
Цена — 2-39

Когда я высказал это предположение своей жене, то она выдвинула встречную «этимологию» названия другого торта — «Иармен». Мол, это уж, конечно, дело мужчин. А впрочем, и те и другие занимаются, по-моему, людоедством.

И. К. Сидоров
Москва

Мнимая красивость

В ПОСЛЕДНЕЕ время в прессе все чаще и чаще встречается, разрешите так выразиться, словесная игра. Стремясь первыми же фразами своего материала заинтриговать читателей, некоторые авторы допускают небрежные, а порой и просто неряшливые выражения с ложным смыслом и мнимыми красивостями. В «Неделе» (1970, № 21) заметка «КОСПАР XIII в Ленинграде» начинается так: «Несколько дней назад в Ленинград прибыл КОСПАР XIII».

Оказывается, КОСПАР в переводе на русский язык — Международный комитет по космическим исследованиям, а XIII — сессия этого комитета; она-то и должна состояться в городе на Неве.

Сказать, что КОСПАР, то есть комитет, в Ленинграде, можно, но «КОСПАР XIII в Ленинграде» — неграмотно, ибо тринадцатого комитета нет, он один, речь идет о его тринадцатой сессии. Тем паче неверно «В Ленинград прибыл КОСПАР XIII»: неначавшаяся сессия не могла прибыть.

Играть словами нельзя, забывая их смысл.

*Петр Дудочкин
Калинин*

КРОССВОРД «СИНОНИМЫ»

Ответы (см. № 6, 1970).

- По вертикалям. 1. Ковер. 2. Лепта. 3. Печаль. 5. Азбука. 6. Торба. 8. Сверстник. 9. Краснобай. 11. Балагур. 12. Резника. 17. Артист. 19. Рубец. 20. Снаряд. 23. Штамп. 24. Автор.
По горизонтали. 3. Поклон. 4. Неряха. 7. Термометр. 10. Слава. 13. Драка. 14. Лазарет. 15. Ссора. 16. Икона. 18. Рубрика. 21. Армия. 22. Тайна. 25. Отечество. 26. Тюрма. 27. Доклад.
-

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В. И. БОРКОВСКИЙ (главный редактор),

В. А. БЕЛОШАПКОВА, Е. А. ВАСИЛЕВСКАЯ, В. П. ВОМПЕРСКИЙ,

В. Я. ДЕРЯГИН (ответственный секретарь), **И. Г. ДОВРОДОМОВ,**

Л. М. ЛЕОНОВ, А. И. ОВЧАРЕНКО, И. Ф. ПРОТЧЕНКО (зам. главного редактора), **Л. И. СКВОРЦОВ, Ю. С. СОРОКИН,**

Ф. П. ФИЛИН, Н. Ю. ШВЕДОВА

Адрес редакции: Москва, Г-19, Волхонка, 18/2. Телефон: 202-65-25

Зав. редакцией *И. М. Беспалова*

Художник *Ю. И. Космынин*

Художественно-технический редактор *Т. А. Михайлова*

Корректоры *Н. Н. Глаголева, Г. Н. Шамина*

Сдано в набор 12/X-1970 г. Подп. к печ 18/XII-1970 г. Т-19135 Т. 85000

Формат бумаги 84×108/32 Печ. л. 5 Бум. л. 2,5 Уч.-изд. л. 9,9 Зак. 1235

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10